Герольд Бельгер

Волк, Пёс и другие

Герольд БЕЛЬГЕР

ВОЛК, ЧАПА И ДРУГИЕ

Рассказы о людских судьбах и о братьях наших меньших

Алматы
«Балалар әдебиеті»
2021

УДК 821 (574)
ББК 84 (5 каз.-рус.)
В 57

Выпущено по программе «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела», по подпрограмме «Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Редакционная коллегия:
Шакен Кумисбаев,
Сейфолла Оспан, Болат Усенбаев, Шайзада Байкенова.

Бельгер Герольд

В 57 Волк и Чапа и другие/ Г. Бельрер – Алматы, «Балалар әдебиеті», 2021, 160 стр.

ISBN 978-601-252-154-2

565584

Этот сборник, составленный из произведений, написанных в разное время, повествует именно о нашем "бытии", о времени, об обычных людях, о беспокойном племени человеческом - о детях, о зверят и тд.. Они рядом с нами: живут, попадают в сложные ситуации и находят выход из них, радуются и печалятся. И прежде всего, они рассказывают о "Великой любви" к казахской степи, ставшей родной для автора, немца по национальности, уроженца России, волею судеб оказавшегося в Казахстане.

УДК 821 (574)
ББК 84 (5 каз.-рус.)

ISBN 978-601-252-154-2

©Герольд Бельгер, 2021
© Жулдыз Бозжигитова-комиксы и обложка
© «Балалар әдебиеті», 2015

КАР!
КАР!

ВОЛК

Волк умирал. Белый свет стал ему не мил. Он целыми днями лежал неподвижно на плотной кошомной подстилке возле утепленной будки, положив тяжелую, изнуренную старческими думами голову на передние разлапистые ноги, вывалив большой белесый язык, ронял слюну и глядел невидящими, слезящимися глазами в зыбкое, мглистое пространство. Ничего его уже не трогало, не волновало. Перед ним стояла большая деревянная плошка с мясом, хлебом, гречневой кашей, но он даже не коснулся ее, не отгонял, как бывало, ни надоедливых кур, ни ворон, ни воробьев, ни задиристого петуха, которые, ничуть его не смущаясь, нагло клевали из его кормушки. Еще недавно он время от времени вставал на дрожащие от слабости задние ноги, вытягивался во весь свой немалый рост, опирался передними лапами о забор и оглашал округу хриплым, утробным ры-

ком. Пусть знают во всем ауле, что он, некогда сильный и внушительный в своей мощи тобет из породы чистокровной немецкой овчарки по кличке Волк, при одном только виде которого все аульные пустолайки-дворняги трусливо приседали, поджимая хвосты, все еще жив, при силе, по-прежнему охраняет подворье местного фельдшера, его поскотину, огород, домочадцев, а также медпункт, куда наведывались люди из всей округи.

Волка знали все – и двуногие, и четвероногие собратья не только в его ауле, но и в других аулах по обе стороны реки Есиль, население которых обслуживал его хозяин – сухопарый, расторопный, всеми уважаемый заведующий фельдшерско-акушерским пунктом.

Все знали Волка. И он знал всех по обличью. Почти всех. Правда, не всех он жаловал. Некоторые были ему и вовсе противны. Однако, всех терпел. И держался со всеми ровно, дружелюбно. Но близко к себе чужих не подпускал. Чтил свою собачью честь и достоинство. Среди собратьев отличался врожденным аристократизмом и пользовался неукоснительным авторитетом. Для этого достаточно бывало грозно насторчить уши, вздыблить хребтину, оскалить клыки и издать глухой, басовитый рык.

Был он и внешне импозантен: крепкий, гибкий, быстрый, понятливый и сообразительный,

ВОЛК

Волк умирал. Белый свет стал ему не мил. Он целыми днями лежал неподвижно на плотной кошомной подстилке возле утепленной будки, положив тяжелую, изнуренную старческими думами голову на передние разлапистые ноги, вывалив большой белесый язык, ронял слюну и глядел невидящими, слезящимися глазами в зыбкое, мглистое пространство. Ничего его уже не трогало, не волновало. Перед ним стояла большая деревянная плошка с мясом, хлебом, гречневой кашей, но он даже не коснулся ее, не отгонял, как бывало, ни надоедливых кур, ни ворон, ни воробьев, ни задиристого петуха, которые, ничуть его не смущаясь, нагло клевали из его кормушки. Еще недавно он время от времени вставал на дрожащие от слабости задние ноги, вытягивался во весь свой немалый рост, опирался передними лапами о забор и оглашал округу хриплым, утробным ры-

ком. Пусть знают во всем ауле, что он, некогда сильный и внушительный в своей мощи тобет из породы чистокровной немецкой овчарки по кличке Волк, при одном только виде которого все аульные пустолайки-дворняги трусливо приседали, поджимая хвосты, все еще жив, при силе, по-прежнему охраняет подворье местного фельдшера, его поскотину, огород, домочадцев, а также медпункт, куда наведывались люди из всей округи.

Волка знали все – и двуногие, и четвероногие собратья не только в его ауле, но и в других аулах по обе стороны реки Есиль, население которых обслуживал его хозяин – сухопарый, расторопный, всеми уважаемый заведующий фельдшерско-акушерским пунктом.

Все знали Волка. И он знал всех по обличью. Почти всех. Правда, не всех он жаловал. Некоторые были ему и вовсе противны. Однако, всех терпел. И держался со всеми ровно, дружелюбно. Но близко к себе чужих не подпускал. Чтил свою собачью честь и достоинство. Среди собратьев отличался врожденным аристократизмом и пользовался неукоснительным авторитетом. Для этого достаточно бывало грозно насторчить уши, вздыблить хребтину, оскалить клыки и издать глухой, басовитый рык.

Был он и внешне импозантен: крепкий, гибкий, быстрый, понятливый и сообразительный,

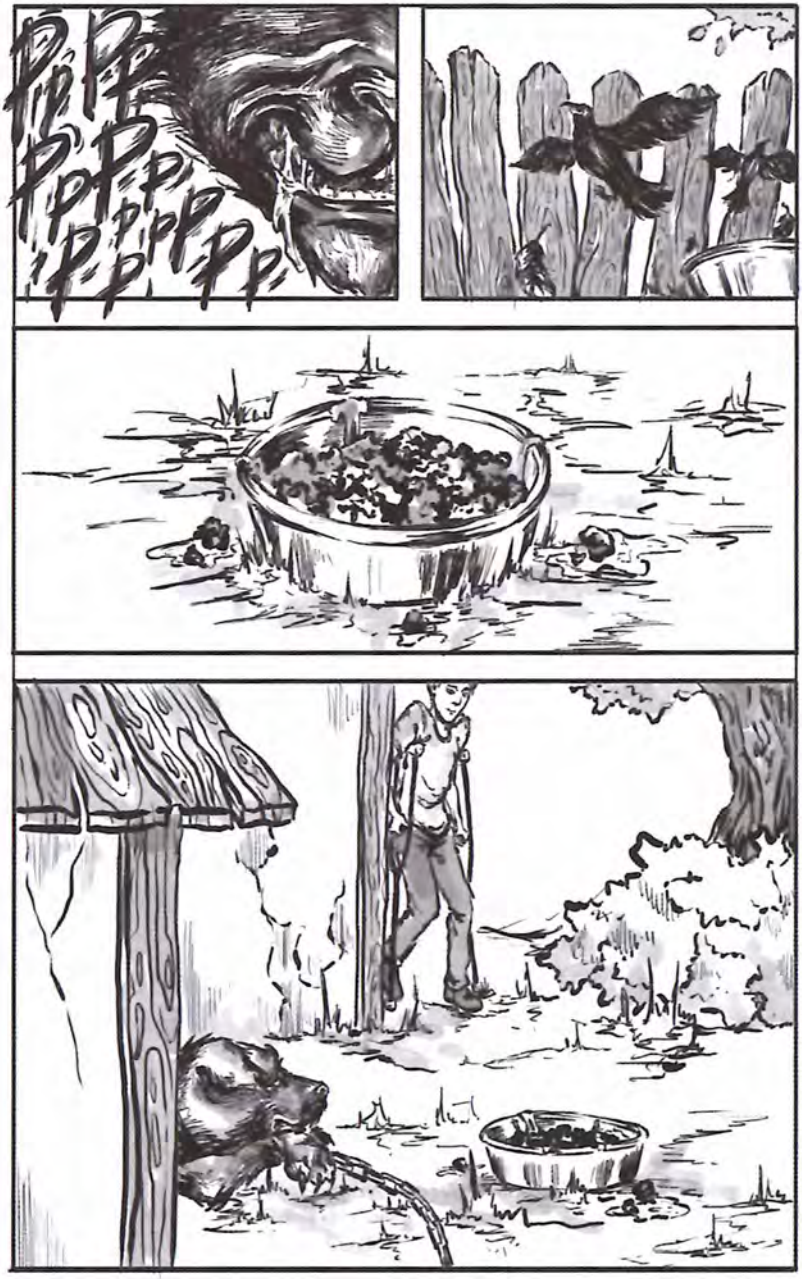
неизменно ухоженный, гладкий, отменно серый со светлой подпалиной, густым черным загривком, упругим хвостом-правилом, пронзительным взглядом, порой с волчьей лютостью.

Достаточно было взглянуть на него, чтобы сразу понять: шутки с ним плохи. От греха подальше. Гордился Волк не только своим хозяином, но и ошейником из чистой, эластичной кожи, украшенной серебристыми бляхами и монетами и прошитой по краям дратвой.

Хозяин умел все, был, что называется, мастером на все руки. И швец, и жнец и на дуде игрец. И Волк обладал многими талантами, понимал все с первого взгляда, безотказно выполнял самые затейливые поручения, если они исходили от хозяина. А вот говорить так и не научился — ни по-немецки, ни по-казахски.

О, долгую, красивую и полезную собачью жизнь он прожил! Может, даже слишком долгую. Нечего сетовать на судьбу. Волк понимал: невозможно долго жить, не старея. А старея, нельзя не болеть. И, видать, он вступил в эту неизбежную полосу жизни.

Вокруг кипела-буйствовала жизнь. Трещали сороки, каркали вороны, по кустам шмыгали вечно озабоченные воробьи, кто-то гремел цепью у колодца, со школы доносился ребячий гомон. Чуть свет наведывал его хозяин, ласко


Рр Рр
Рр Рр
Рр Рр
Рр Рр

гладил его по хребту, расспрашивал, должно быть, о здоровье, о состоянии, о том, на что жалуется, приносил в кульке плохо обглоданные косточки от вчерашнего супа.

Волк тяжело хворал. С каждым днем ему становилось все хуже, и ничем хозяина порадовать не мог. Только смотрел на него виноватыми и преданными глазами и по бороздкам к ноздрям его текли крупные слезы.

Потом хозяин удалялся в медпункт, но Волк чувствовал его близость: медпункт находился рядом, на расстоянии брошенной палки.

Подходил по пути в школу и сын хозяина с полевой сумкой за спиной и с костылями под мышкой. Он тоже говорил что-то ласковое, шаловливо щелкал пальчиком по носу, дескать, держись, брат, не унывай. Жизнь – такая штука, что приходится терпеть.

Приходила к его будке и жена хозяина, молча вываливала в миску какое-то пахучее варево. Волк благодарно шевелил хвостом, стригал ушами, но до варева не дотрагивался. Душа ничего не принимала.

Волк страдал, чувствуя, что в нем, в утробе, будто все окаменело, слежалось комом, и он даже срыгнуть не мог. Он прислушивался к привычным аульным шумам, улавливал знакомые запахи, но лежал неподвижно и предавался грустным старческим воспоминаниям.

Ах, какие были благодатные времена! Как радостно было играть-забавляться с хозяином.

Он был большой выдумщик и учил Волка разным затейливым трюкам. Он брал его с собой на сенокос, на открытую поляну возле Ишима, где трава стояла выше лошадиного брюха. И пока хозяин косил пахучее разнотравье, размеренно и сосредоточенно размахивая звонкой литовкой, Волк резвился в непроходимых зарослях, гонялся за сусликами, вынюхивал гнездовья кекликов, разрывал норки сурков.

А потом забирался в глубь прибрежного тугая, вспугивал разную мелкую тварь, иногда натыкался на длинноухих. Резвясь на воле, упиваясь своей силой и сноровкой, он не забывал прислушиваться к ладному вжиканью косы, к покрякиванию хозяина, к его зовам, готовый в любое мгновенье примчаться при первой же надобности.

Хозяин брал Волка и на рыбалку. Волк усаживался рядом, щелкал зубами, отгоняя назойливых комаров, слепней, мух, жучков-паучков, спускавшихся к нему с прибрежного тальника, с любопытством взирал, как хозяин разматывал уду, насаживал на крючок извивавшегося червячка, как таскал крохотных чебачков и пескарей и налаживал жерлицы и пристально следил за подрагивающим на темной глади воды бело-красным поплавком. Когда жерлицы разматывались с легким треском, чуткий Волк тихо поскуливал, испытывая радость уло-

ва щуки или окуня. Иногда хозяин подбрасывал Волку упруго трепыхавшуюся красноперку, и он, слегка поиграв ею, обнюхав, проглатывал ее, не жуя. Особенно ликовал Волк, когда после удачной рыбалки и трапезы на расстеленном брезентовом плаще под тенистым талом, увитом душистым хмелем, они отправлялись домой. Волк трусил впереди, гордо вскинув тяжелую голову и наслаждаясь пытливыми взглядами аульчан.

Бывало хозяин с женой и сыном, когда он еще передвигался без костылей, отправлялись в лесок за аулом, к глубокому оврагу «Терен сай», где собирали в корзины, котелки, ведерки костянику, голубику, вишню, черемуху, чернику, боярку, землянику и на обратном пути Волку доверяли нести в зубах узелок с солодковым корнем.

Позже, когда хозяин обзавелся мотоциклом с коляской, он брал Волка с собой в соседние аулы на медицинский осмотр. Пока хозяин в белом халате и походной аптечкой в руке обходил подворья или принимал страждущих в местной школе, Волк величаво восседал в коляске мотоцикла, прикрывшись брезентовым пологом, терпеливо дожидался конца приема. Чумазая малышня обступала Волка, восхищалась им, что-то лопотала на незнакомом говоре, цокала языками, но подойти ближе к

диковинной по тем временам машине не осмеливалась. Только восторженно восклицала:

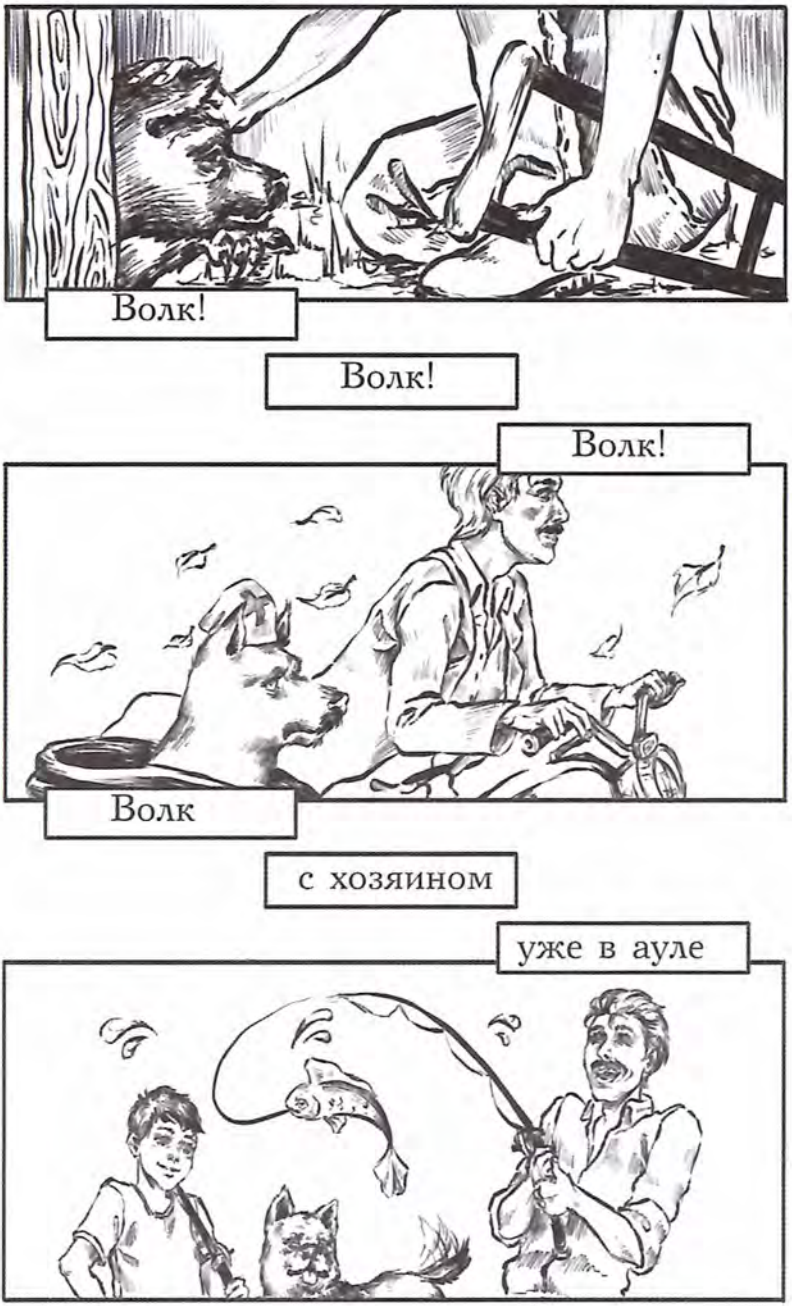
- Матасикыл! Матасикыл!

– Болык! Болык!

Иногда потехи ради хозяин нахлобучивал на голову Волка медицинскую шапчонку и называл его: «Почтенный медбрат!» Волку этот прикид был не по душе, но ради хозяина он послушно сносил его и оглушительный ребячий хохот.

Был Волк еще и талантливым цирковым артистом. По команде хозяина ходил на задних лапах, делал стойку, подпрыгнув, ловил на лету конфеты, иримчик, курт, рафинад, сухарики, прыгал через хворостинку, через обруч, потешно поскуливал под скрипку или губную гармонь, безошибочно брал след и находил спрятанные предметы, хватал высоко подброшенный войлочный мяч, носил в зубах бадейку с водой, не расплескивая ни капли. О, многим штучкам-дрючкам научил его неуемный хозяин! А вальсировал так, что зрители хватались за животики. Многое умел Волк и охотно демонстрировал свои номера аульным зевакам.

Утомленный воспоминаниями, Волк впадал в дрему. И снились ему дивные картины далекого прошлого.


Волк!
Волк!
Волк!
Волк
с хозяином
уже в ауле

Приехали они с хозяином на мотоцикле в густой лес за Алка-Агашем, где расположился пионерский лагерь. Детвора высыпала навстречу, загудела-загорланила: «Волк! Волк!» Волк, сидя в коляске, снисходительно оглядывал малышню. Он знал, что ждут от него его знаменитые трюки. Но это будет потом, ближе к вечеру, между полдником и ужином. А до этого хозяин должен осмотреть ребятишек, помазать им йодом и зеленкой ссадины-ранки-ушибы, кое-кому сделать прививку, наклеить пластырь, промыть глаза и уши. А уж концерт состоится потом, у костра, под аккомпанемент гармониста из Козловки. И радостных визгов, восхищенных воплей, криков будет много, и он, Волк, не подведет, честно отработает все свои кундштюки. И удоволенные, уже в сумерках они вернутся с хозяином домой, в аул.

Перед сном хозяин по обыкновению натаскает воды из колодца через улицу и вместе с женой принимается поливать палисадник и грядки в огороде.

А Волк приступает к своим ночным обязанностям: трижды обежит огород, подворье, издает свой знаменитый львиный рык, напомнив всем аульчанам, что он при исполнении и чтобы никто и близко не сунулся.

Что ни говори, славное было время! Волк обожал своего хозяина, его семью, и нрави-

лись ему строго регламентированные порядки, тихий, уютный аул и все его окрестности. Ну и Волк – он это сознавал – был популярен во всей округе.

Собачья жизнь на редкость удалась.

А теперь что? Теперь все в прошлом. И пора уходить, исчезнуть, сгинуть с глаз долой.

Уходить надо бы по-хорошему, по-собачьи. Просто незаметно улизнуть, уйти, куда глаза катят и, подобрав, поджав ноги, отдать богу душу в укромном местечке, о котором никто и не догадывается.

Волк знал: так положено благородному собачьему племени. Это было бы честно и достойно. Но Волк понимал: он на такое ныне не способен. И сил уже нет, и цепь мешает, да и бросить хозяина таким способом – подло.

И он угасал, умирал тихо и смиренно. Ему было лишь неловко оттого, что причиняет хозяину столько хлопот.

На пятый день агонии хозяин пришел к нему утром с охотничьим ружьем. Он уже не мог смотреть на мучения любимца. И решил положить конец всем его страданиям. И Волк обо всем догадался. В глазах его плескались боль и тоска. На хозяина, и на черное дуло ружья он смотрел спокойно и открыто. Даже не зажмурился. Не моргнул. Хозяин долго целился в обреченного Волка, уже положил палец на

курок, но увидев, как по глубоким бороздкам к ноздрям покатились крупные собачьи слезы, вздрогнул, отвел ружье и, сгорбившись, опустив голову, спешно направился в дом.

Волк понял: смертельный приговор исполнен не будет. Но облегчения не почувствовал. Лучше бы мгновенный конец.

На следующее утро хозяин опять пришел с ружьем. И опять долго целился в раскрытую пасть Волка. И опять выстрела не последовало.

– Не могу, – горестно сказал хозяин сыну, смотревшему в окно.

Как-то принес хозяин бутылек с какой-то слизистой, дурно пахнущей жидкостью, пытался влить ее в пасть Волка, но беднягу замутило, затошнило, и он выплюнул клейкую микстуру.

Ничего уже не помогало. Волк не ел уже больше недели. Брюхо его раздуло. Он тяжело водил боками, и зеленая слизь капала с его распухшего, забуревшего языка.

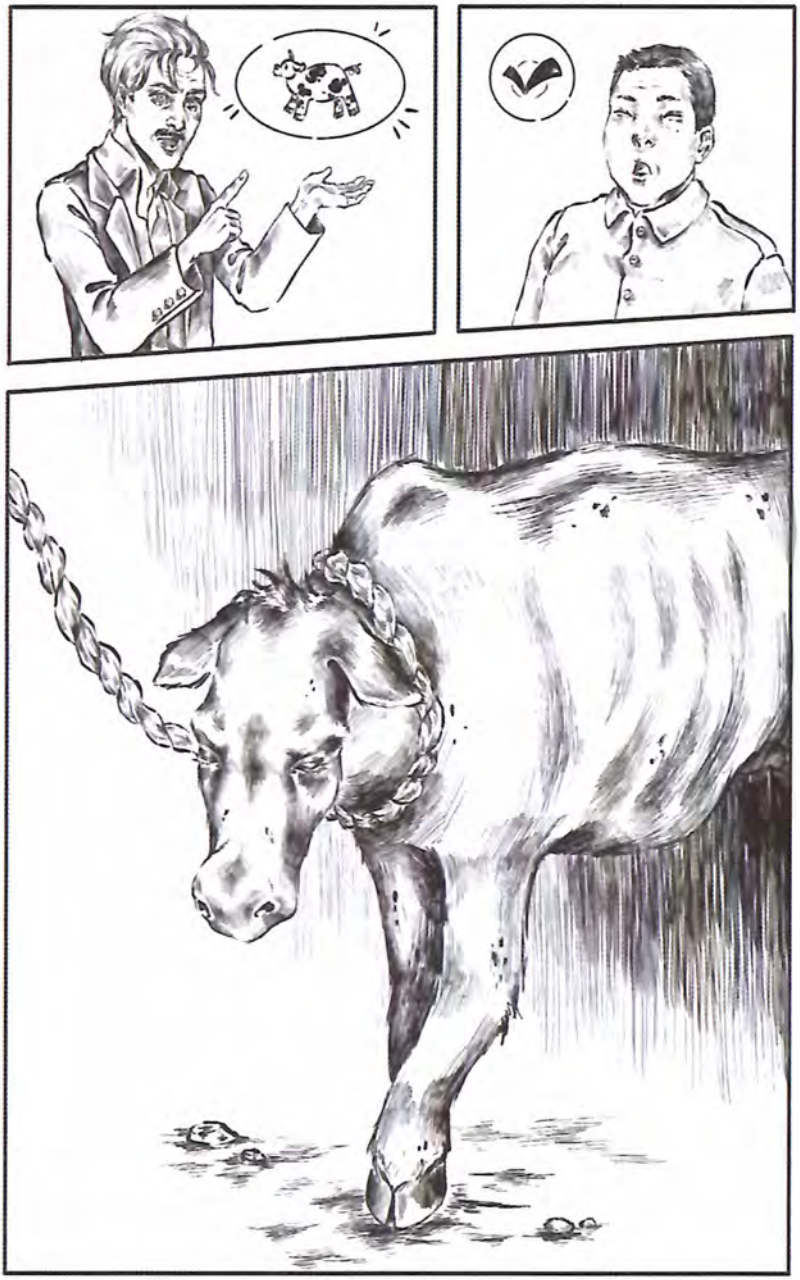
Осенним слякотным днем, на рассвете, хозяин застал Волка мертвым.

Он долго стоял возле любимца, с трудом сдерживал слезы, все удивлялся, почему грозный и могучий Волк, окоченев, стал таким маленьким и беспомощным, потом побрел домой, разбудил сына и хриплым, сдавленным голосом коротко сообщил:

– Волк умер...

Хозяин вырыл глубокую яму в самом конце огорода, рядом с чахлой акацией и бережно положил застывшее и странно съежившееся тело Волка. У маленького, свежего холмика понуро стояли долговязый аульный фельдшер и его сын-подросток, тяжело опиравшийся на костыли.

Хозяин Волка был мой отец. А сыном, повисшим на костылях, был я. И происходило все это в ауле на берегу Есиля в начале пятидесятых годов прошлого века.



565584

МАРТА

Когда вышел державный указ от 28 августа 1941 года о выселении немцев Поволжья в Сибирь и Казахстан, отец первым долгом отвел нашу любимицу-кормилицу буренку Марту на совхозный двор, заручившись справкой о сдаче дойной коровы в Фонд обороны. Существовало якобы распоряжение властей о том, что на месте ссылки государственные органы обязуются вернуть согласно справке достойную замену. В суматохе срочной депортации редко кто поверил такому распоряжению, но отец – верил и советской власти, и коммунистическому руководству.

Мама на прощании обняла Марту, прослезилась. Марта давала ежедневно два ведра высокой жирности молока, была послушна и понятлива.

Только указ о выселении немцев был выше ее разумения. Да и о том, что разразилась война с Германией, она тоже не знала.

Справку о сдаче коровы в Фонд обороны отец бережно хранил в своем потертом ко-

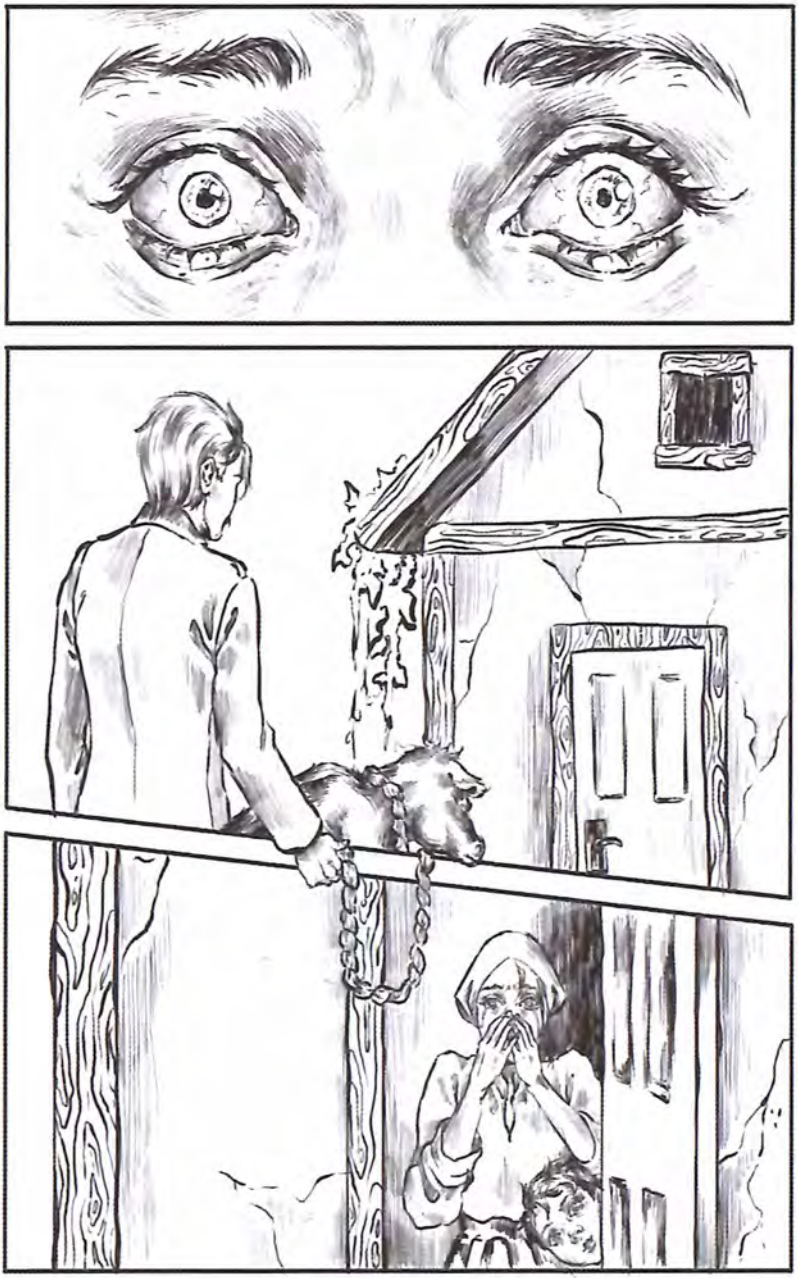
жаном бумажнике вместе с другими разными квитанциями.

Я Марту помнил. Когда мама ее доила, подсев на низенькую скамеечку, я стоял рядом и любовался, как тугие струи, пенясь, цвиркали в чистый подойник. Запомнил и душистый запах парного молока, которое мама потом разливала по узкогорлым крынкам, снимая через день сладкие сливки.

Уже в ауле, в северном Казахстане, где мы поначалу изрядно бедствовали, отец не раз ходатайствовал в райцентре о возврате замены если не коровы, то хотя бы телки. Справку заветную подолгу разглядывали, вертели в руках и так, и сяк, всматривались в печать, убеждались, что все вроде правильно, законно, но решения не находили. Неясно было, кто собственно должен возвращать корову ссыльному спецпереселенцу. Наконец, уже весной 1943 года баскарме колхоза Жана-талап было поручено райисполкомом выдать заведующему фельдшерско-акушерским пунктом какую-нибудь буренку из колхозного стада.

Мама ликовала. Будет коровка – будет молоко. А будет молоко – с голоду не околеем.

И настал день, когда отец отправился за коровой в Жана-талап. Поехал не один, а с аульчанином Кабылом, прихватив волосяной аркан, ремни, батог. Время было весен нее.



Ишим-река разлилась широко, залила все поймы-старицы. Аул Жана-талап находился на противоположном берегу, расстояние близкое, напрямик не более пяти километров, но в половодье надо было добираться в обход через Марьевку на пароме.

Отец и Кабыл добрались до Жана-талапа на второй день. Им повезло: отцу тамошний баскарма, взяв расписку, передал на поводке невероятно тощую, отупевшую за зиму от бескормицы, еле волочившую ноги, хлипкую буренку с дряблым, иссохшим выменем.

Отец опешил. Он вспомнил дородную, сытую и гладкую, немецкой породы Марту, которую собственноручно отвел на Волге в Фонд обороны. А тут перед ним стояла еле живая, вся в струпьях и чирьях замухрышка.

– Бери, что дают. Другой нет! – отрезал баскарма.

Как быть? Кружным путем через Марьевку эту доходягу до аула не доставишь. Околеет по дороге. Отец был в растерянности.

– Эй, першыл! – осенило Кабыла. – Давай прямо-прямо через Есиль.

– Как? Вплавь?

– На пароме. Тауеккель! Рискнем! Аллах даст – перевезем.

Оказалось, у местного старика-охотника Ишана имелся плот, на котором он по весне

нередко переправлял через разлившуюся реку путников на лошади, а также ватагу учащихся средней школы в нашем ауле.

– Сможешь? – спросили у него.

– А магарыч дашь? – последовал ответ.

– Какой магарыч?

– Ты – першыл, вот и лечи мою бабку-марджу.

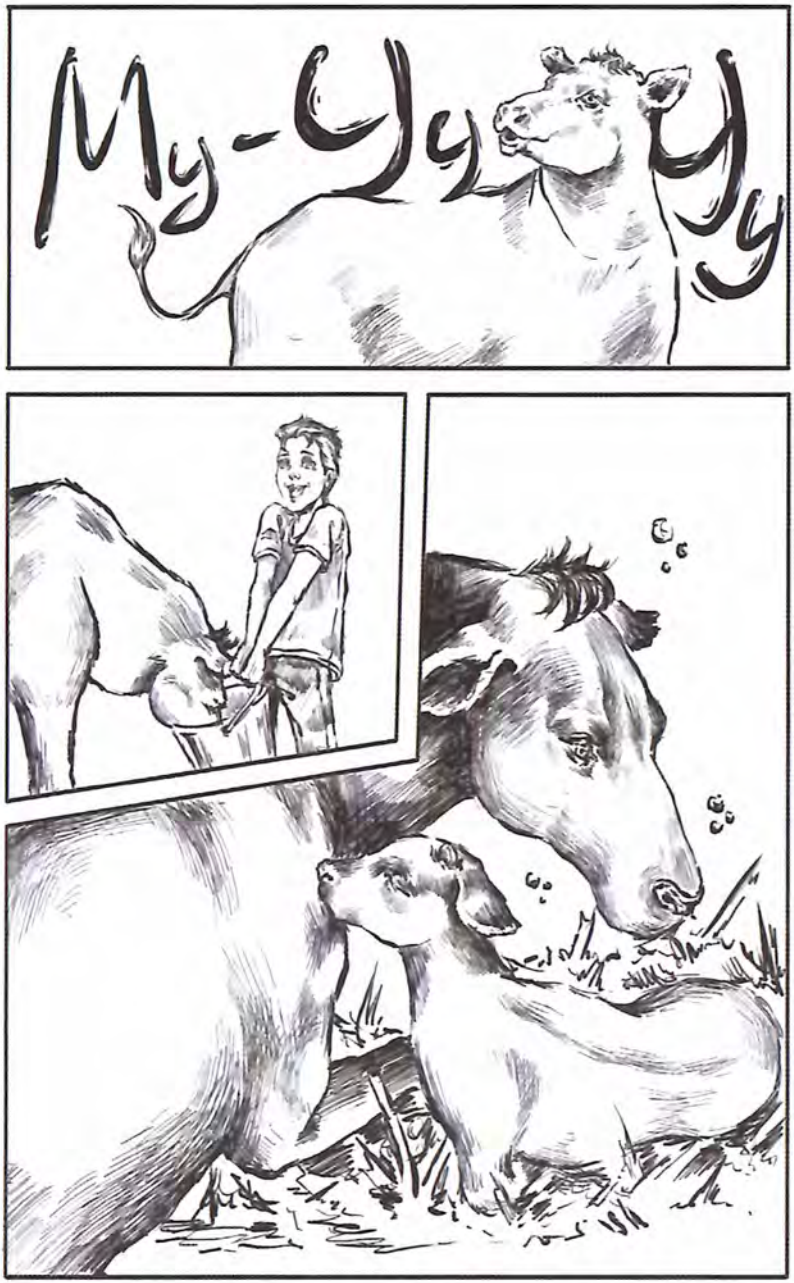
Байбише охотника маялась поясницей. Отец, приезжая в Жана-талап, делал ей растирание, ставил банки. Иногда помогало.

– Пойдет! Болды!

Плот, сколоченный из бревен и досок, был привязан к одинокой березе у самой кромки воды. Корову с трудом загнали на плот, спутали ноги, свалили на бок, Кабыл сел ей на шею, схватил за рога и, когда плот столкнули в воду, корова от ужаса сразу присмирела, выкатила глаза, не зная, что происходит. Охотник Ишан и отец принялись за багры и весла. До берега, заросшего тальником, было вроде рукой подать, а плыли целую вечность.

– И-и, алла... Бәрекелді! Добрались аман-сау, – вымолвил, наконец, Кабыл.

Корову с усилием подняли на шатком настиле, вывели на пологий берег, а сами, вконец обессиленные, опустились на трухлявую корягу.


Му-Му

Мама, увидев замухрышку, прослезилась. Она поняла: ее нужно сначала отмыть, избавить от чиряков, поскрести, накормить, обласкать, выхолить-выходить.

Назвали корову тоже Мартой.

– Какая Марта? – недоумевали аулчане. – Она же казашка!

– Пусть будет казахской Мартой, – ответила мама.

Отец не возражал.

– На Волге у нас была Марта Первая, а в Казахстане, стало быть, Марта Вторая.

Через полгода Марта поправилась неузнаваемо. Повеселела на летнем разнотравье, раздобрела, округлилась, залоснилась, обросла здоровой плотью. Мама ее старательно раздаивала, баловала теплым пойлом с отрубями. Возвращаясь с выпаса, уже издали Марта радостно ревела: «Му-у-у...». И мама в чистом фартуке, с полотенцем для обтирки вымени, с подойником выходила навстречу.

Марта с готовностью откликалась на ласку и заботу.

По пути в аул Коктерек отец, завидев стадо в степи возле гигантского валуна, заглушал мотоцикл и, встав на обочину в дождевике и каске, громко кричал:

– Марта! Марта!

И Марта, вскинув голову, долго, видно, не сразу признав, смотрела на хозяина, как бы удивляясь: «Ты ли это! И каким образом ты

здесь очутился?», потом на несколько шагов выбиралась из стада и живо откликалась своим протяжным «Му-у-у».

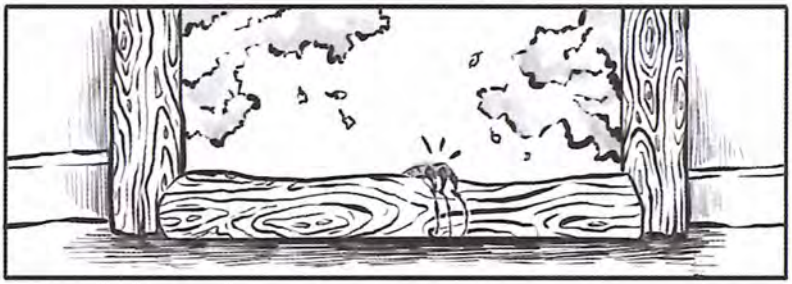
Каждый год, ранней весной, она приносила по бычку, такого же крутолобого, в пежинах и такого же отзывчивого и благородного.

И только на седьмой год, наконец, разродилась телочкой.

Телка подросла и через два года обернулась ладной коровой по кличке Майя. И мама уже надаивала по большому ведру пахнувшему полынью и пыреем молока.

А состарившуюся Марту отвели в колхозное стадо, откуда ее в предзимье сдали в заготскот.

Майя заботливо кормила нас, пока я не окончил аульную школу и не уехал на учебу в далекую Алма-Ату. В свой черед ее заменила телка уже от нее. Но о том я бегло узнавал только из пространных писем отца.



ЧАПА

Она объявилась на рассвете. Колотила-скребла твердыми ножками порог, карабкалась по нему, не в силах его одолеть. На ее тщетные усилия, не зная, как помочь, изумленно смотрел мудрый старый пес Рекс, приветливо повизгивал и вилял коротким, с белой кисточкой хвостом.

Первым вышел на веранду, услышав шорох, заспанный Артур и хрипло воскликнул:

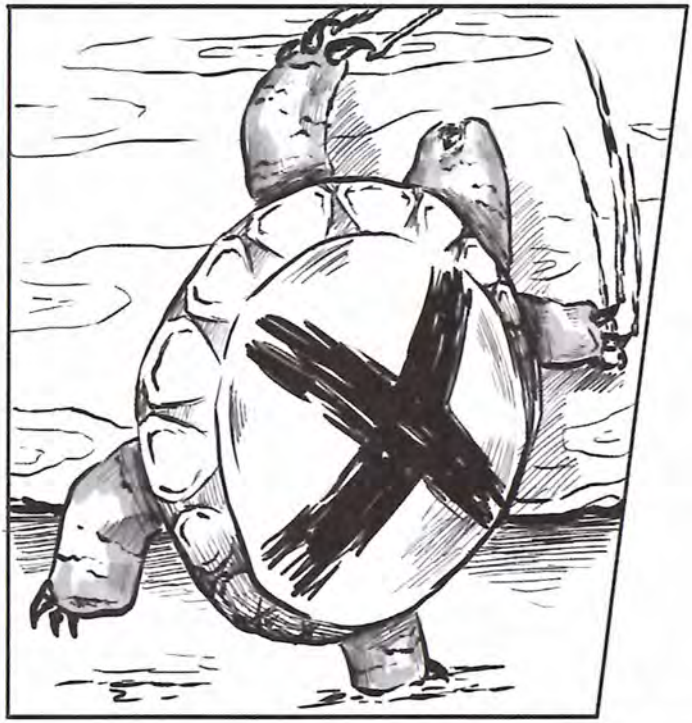
– Чапа вернулась!

Было это ранней весной в Ташкенте в усадьбе моего отца.

Все домочадцы мигом вскочили и бросились к выходу. Чапа, опираясь на задние кривые ножки, почти вылезав из-под панциря, безуспешно карабкалась на порог, пробиваясь в дом, цеплялась за краешек и вновь срывалась.

– Чапа! Чапа!

Но Чапа никого не слышала.



С тупым отчаянием пыталась взобраться на порог. На жестком панцире ее четко выделялся красный крест, которым года три назад Чапу пометил масляной краской мой отец.

Чапа – черепаха. Забрела она как-то из сада, и Артур, мой племянник, запустил ее в дом. Она за весь день деловито обшарила все углы и облюбовала себе место под старым громоздким диваном в зальчике. Там и притаилась, жила тихо, незаметно. Вначале Артур иногда забавлялся ею, постукивал по панцирю, переворачивал, трогал ножки, мягкое подбрюшье, гладил морщинистую, заскорузлую шейку. Но Чапе это не нравилось. Ласки ей были не по душе. И у Артура пропал к ней интерес.

Но три раза на дню Чапа регулярно напоминала о себе. Стоило нам всей компанией сесть за трапезный стол, как тотчас раздавался размеренный глухой стук по деревянному полу. Значит, Чапа выбиралась из своего укрытия и спешила на веранду, где под столом ожидала ее глиняная плошка с молоком, хлебным мякишем и мелко порубленной травкой. Чапа деловито добиралась до кормежки и, высунув из-под панциря маленькую головку, принималась едва слышно хрумтеть. Ела она, не спеша, и совсем-совсем мало. Привередливая Мурка брезговала доедать объедки. И вообще Чапу не жаловала. Поев, с чувством исполненного

долга Чапа, постукивая-поскребывая упругими колотушками-ножками по деревянному полу, убиралась восвояси под диван. Маршрут был неизменным, с курса не сбивалась.

Поздней осенью она исчезала. Незаметно выбиралась из дому и удалялась в сад. Артуру так и не удалось ее выследить. А весной возвращалась, как ни в чем не бывало, целая и невредимая. Только немного подросшая, раздавшаяся. На панцире, как прежде, красовался – чуть-чуть расплывшийся – красный крест. Она на несколько лет стала как бы членом нашей семьи. И без Чапы нам всем бывало грустно.

УЖАК

В Ташкенте в летние, нестерпимо знойные месяцы чилля мы, обитатели родительской усадьбы в Байсунском тупике, целыми днями пропадали в просторном гараже за глиняной стеной кладовки с балаханой. «Гараж» – только название. На самом деле это загороженное с трех сторон хорошо продуваемое пространство, довольно уютно оборудованное, чистое и относительно прохладное. Рядом колонка, с каменным желобом, по которому струится вода в сад за кустами смородины и крыжовника. В середине гаража громоздится теннисный стол с длинными скамейками с двух сторон. Во главе стола стоит неподъемное железное кресло, сконструированное из диковинных деталей отцом. Кресло массивное, очень неудобное, но отец восседает на нем, как на троне. В «гараже» собирались по обыкновению родители, дети, внуки, зятья, дальние и близкие сородичи.

Здесь ели, пили, лакомились ташкентскими фруктами, читали, колготали, играли в карты, шашки, домино, музицировали, убивали время. Ранним утром, пока из соседних садов после ночного полива веяло прохладой, я здесь работал – писал и переводил – под несмолкаемой воркотней голубей, журчанием арыка, ленивым тявканием собак и отголоском муэдзина-азанчи, призывавшего правоверных к утреннему намазу.

Посередке гаража, прислонившись спинкой к дувалу, стоял обшарпанный, продавленный диванчик, притащенный отцом со свалки. Отец имел пристрастие к старым вещам и разной рухляди. Под диваном протекал чахлый арычок. А в ящике дивана слежались за многие годы кипы пожелтевших газет. И однажды – не раз и не два – наших голых пяток коснулось что-то живое, мягкое и холодное.

Что за чертовщина! Не Мурка, не Рекс, даже не крыса... Артур полез в диван, разворошил газеты и обнаружил в углу свернувшуюся калачиком зелено-бурую змею.

Все с визгом, криком кинулись врассыпную по ограде. Отец мигом схватился за вилу, чтобы заколоть непрошенную гостью.

– Стой! Это же уж! – догадался Артур.

Уж, вытащенный племянником Артуром на свет божий, явно смущенный, пополз по бетонному полу и ловко улизнул под диванчик.

– Ужак, ужак! – ликовал Артур. – Он безвредный.

Домочадцы успокоились и не стали его тревожить.

– Нехай живет скотина! – пошутил отец.

Однако стало боязно ходить по двору, по саду, собирать ягоды в кустах вдоль ограды. Всюду мерещился уж. И знаешь, что не опасен, а неприятно. Да и на змею больно похож. Они за городом кишмя кишат.

Соседство с ужом тяготило. И уж начал наглеть. Стал все чаще вылезать из-за своего укрытия. Ластился к Артуру. И Артур клал его к себе на колени, гладил его, приговаривал: «Ах, ты, ужачок-дурачок!», и уж смиренно затихал.

– Вот скотина! – удивлялся отец. – Ласку любит.

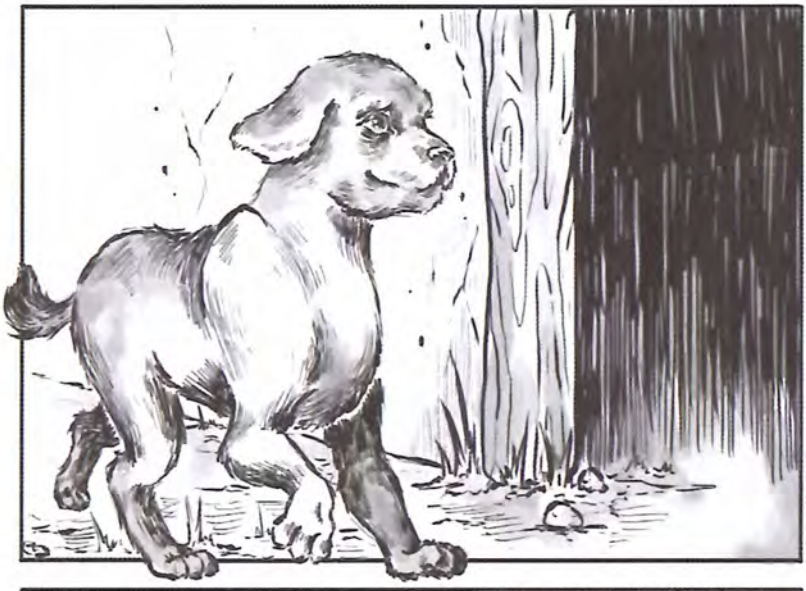
Артур уверял, что уж, довольный, даже улыбался.

Мы же смотрели на него с ужасом. И за столом стали сидеть скованно, с оглядкой.

И однажды Саша, другой мой племянник, решил положить конец тревоге. Взял ужа и запустил его в соседний сад. Но не тут-то было! Через день-другой уж приползал к своему излюбленному закутку под диванчиком.

Надоел уж. Ему было хорошо с нами, комфортно. А нам, домочадцам, такое соседство удовольствия не доставляло.

И Саша уложил ужа в пакет и отвез в Чиланзар, где и выпустил его в захламленный арык. Это было слишком далеко, и уж к нам больше не вернулся.



ГАВ
ГАВ!!
ГАВ!

ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА

А вот случай из послевоенного времени в ауле Приишимья. Веселый, шустрый песик Шарик ближе к рассвету начал вдруг исступленно лаять. Да так надрывно, так истерично, взахлеб, до хрипоты, что стало жаль его. Отец вставал, зажигал фонарь, отправлялся в сарай. Корова Марта отрешенно жевала свою жвачку, овцы в полудреме перхали, телка дремала на сенной подстилке. А Шарик метался по сараю, взлаивал и бросал на отца растерянные взгляды.

И это продолжалось несколько ночей подряд. Аул мирно спит, а покладистый, понятливый пес прямо-таки из шкуры лезет. И вся морда почему-то окровавлена. Ну и ну!

Однажды мы с отцом обшарили все углы сарая, весь двор, но ничего подозрительного не обнаружили.

Днем же все было спокойно.

Рррр
Ррр
Ррр

Шурх
Шурх

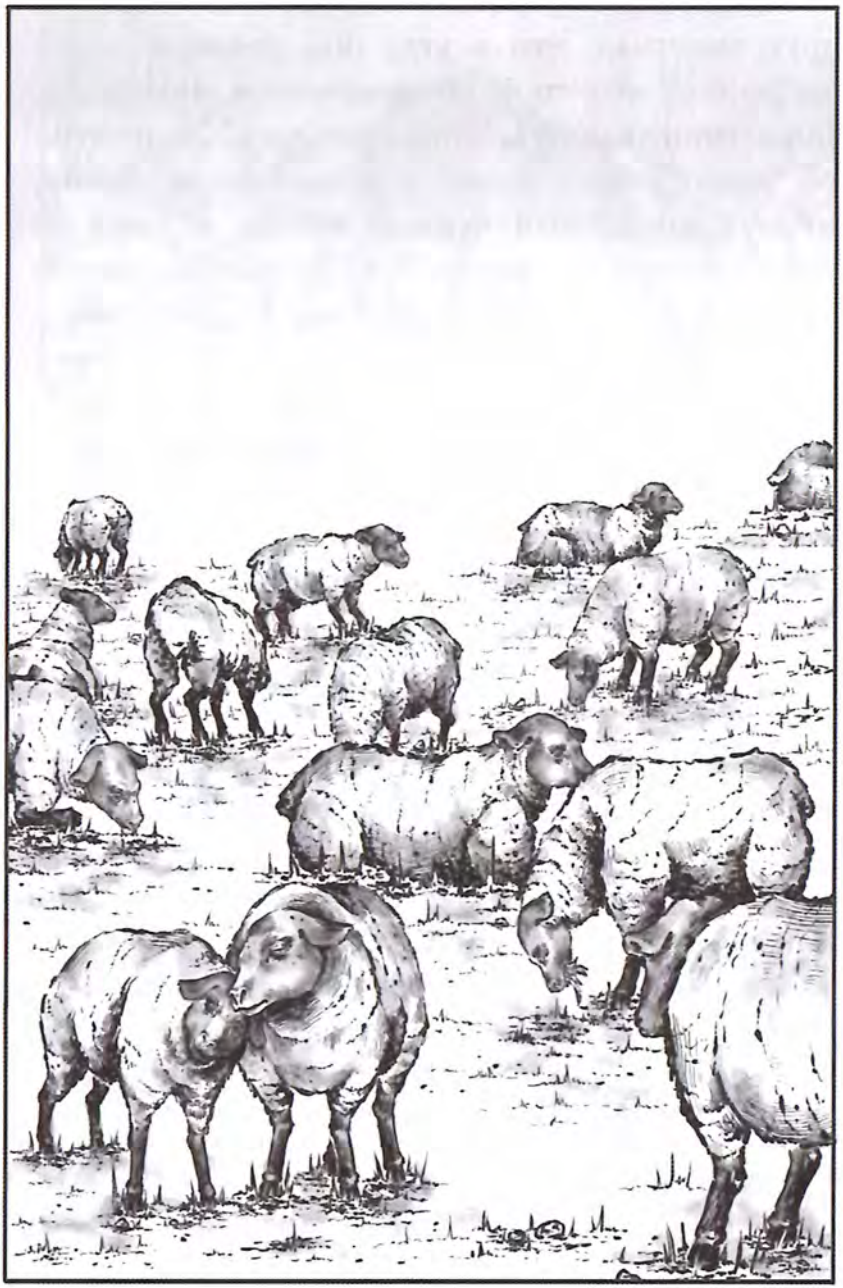
Как-то рано утром мама доила Марту и вдруг заметила, что в углу под сеном и ворохом листьев кто-то будто фыркает и шевелится. Мама пригляделась, прислушалась, хворостиной разворошила труху и остолбенела. Ежик, высунув крохотный черный носик, к чему-то принюхивался и разгребал лапками сенную труху. Может, почуял запах парного молока.

Вон, оказывается, с кем ночи напролет сражался верный Шарик! Видно, ежик ночами выходил на охоту, бдительный пес набрасывался на нарушителя ночного спокойствия и, намереваясь его укусить, исколол себе всю морду о ежовых колючках. С таким зверем Шарик дела еще не имел.

Отец изловил ежа, положил в коробку из-под лекарства, рассказал о ночном охотнике соседу-туберкулезнику. Айтжан сказал:

– Отдай ежа мне.

Он лечился от чахотки старинным способом: пил растопленный жир сусликов, сурков и хорьков. А говорили: лучшее снадобье – жир ежа. Мне жутко было представить, как тщедушный Айтжан закалывает и ошкуривает бедного ежика. Я украдкой отнес коробку с ежиком в недалекий березовый колок и выпустил зверька на волю.



ЛЮ, ЦА И ФУ

Вечерами, когда солнце садится далеко за Ишимом-рекой, с верховья за аулом поднимается густое облако пыли. Все слышнее становилось разноголосое блеяние овец. Это Сакен, местный пастух, зычно покрикивая, пригоняет общественную отару с выпаса.

В ауле начинается переполох.

Навстречу отары с хворостинами в руках, в сопровождении аульных шавок, спешит малышня, усугубляя привычную вечернюю суматоху. У околицы, недалеко от старинного погоста, происходит бестолковая встреча отары и разбирающей своих отец и коз детворы.

И каждый день одна и та же кутерьма. Вавилонское столпотворение!

Для меня все овцы одного обличья. Различаю я только бородатого, нахального козла-предводителя отары, а овец определяю лишь по масти – черная, белая, пестрая. По каким внешним

признакам различают мои тамыры-сверстники своих овец – выше моего разуменья. Аульные мальчики и девчонки по-разбойничьи врываются в отару, внося полную неразбериху, отделяют своих баранов, те в испуге шарахаются в разные стороны, отчаянно блеют, кто-то прихватывает чужих овец, крик, гвалт, ор, ругань оглашают аул, все перемешивается – овцы, козы, собаки, детвора, где, что, как – никак не поймешь.

И малышня в азарте и усердии все путает, и овцы шалеют, испуганно жмутся друг к дружке, и дворняжки с лаем носятся из края в край – попробуй, разберись тут.

Наконец, отара разобрана по подворьям, овцы загнаны в хлев, и тут начинается поиски пропажи.

– Эй сосед, к вам случайно не забрели мои овечки?

– Е-е... откуда знаю, посмотри.

Испуганных овец отлавливают в чужих хлевах, сараях, загонах, выволакивают-тащат-гонят домой и лишь в глубоких сумерках наступает, наконец, в ауле тишина.

С коровами проще. Они сами знают, куда им идти, где их встретят и подоят. А с овцами – сплошная морока. Совсем безмозглая скотина! Выкатит тупые глазища и не сообразит, что к чему. Говорят же: «Смотрит, как баран на новые ворота».

Пю!
Цуа!
Фу!

Однако у моего отца и овцы умные. Их всего три и держатся они всегда рядком, и хотя я их тоже с трудом различаю, но каждая имеет свою кличку, придуманную отцом. Белую, крутобокую зовут Лю, черную, мосластую – Ца, а пеструю, егозливую – Фу.

Они откликаются на зов, тягуче блеют, что-то соображают. Отец их приучил.

Когда отара начинает спускаться с верховья, отец выезжает на велосипеде навстречу и, встав с края холма, громко выкрикивал:

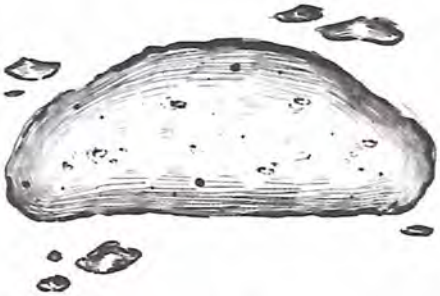
– Лю, Ца, Фу! Лю, Ца, Фу!

И наши овцы, услышав знакомый зов, дружно выбирались из отары и послушно цокали копытцами за отцом домой. Все только диву давались. По пути отец угощал их ржаной, круто посоленной корочкой.

– Эх, если бы все овцы были такими, как у нашего першыла! – восхищался Сакен.

Вообще у моего отца ни с какой скотиной не было проблем. Полное взаимопонимание.

От Лю, Ца, Фу пошло потомство. Но я к тому времени уже уехал из аула. И у молодых овечек появились новые диковинные клички. И разумные повадки продолжались из рода в род.



СУХАРИ

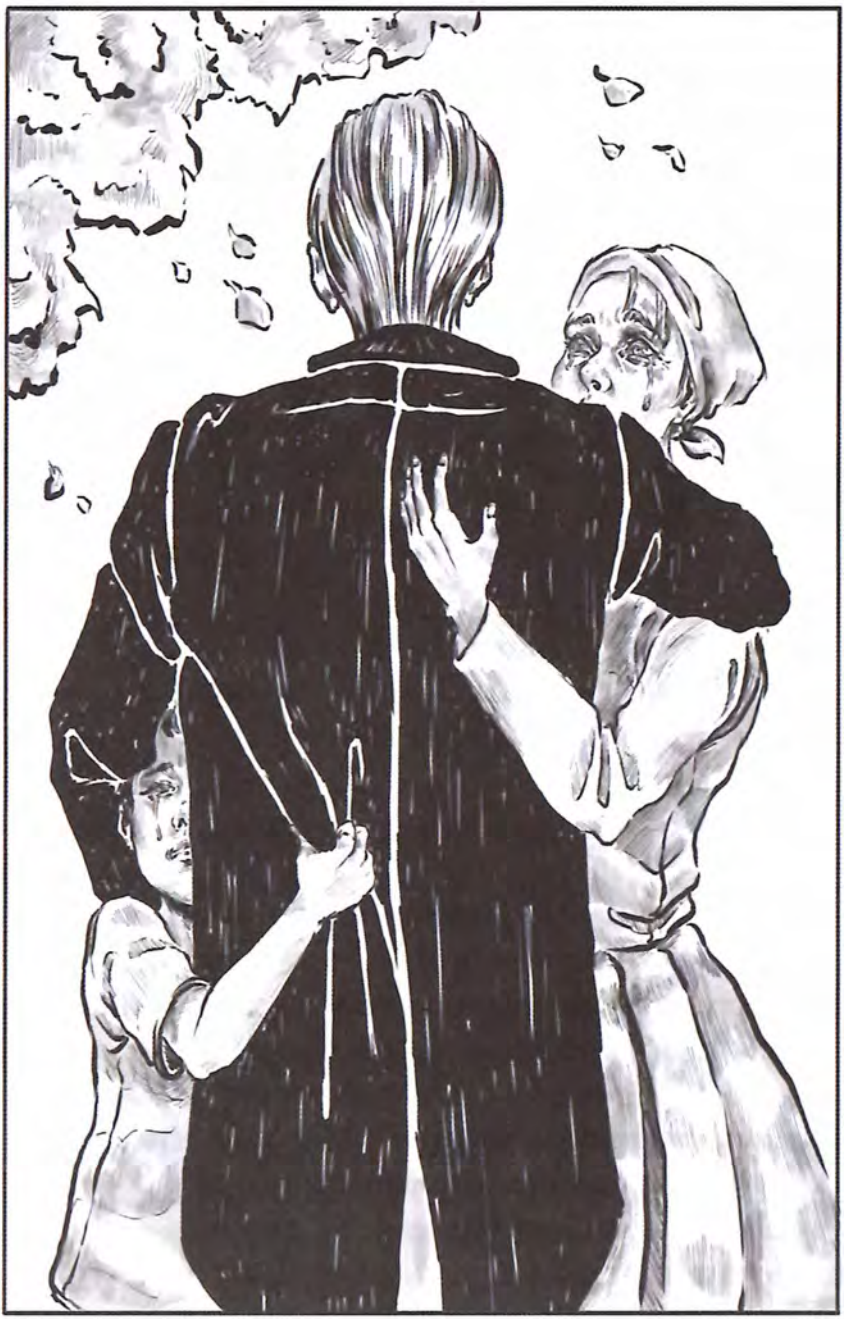
Ранняя весна 1942 года. Дни заметно удлинились. Снежные завалы осели. Сугробы по бокам замаслились. Бугорок за аулом, где находилось древнее кладбище, с южного склона обнажился черными проплешинами. Солнце поднялось на длину аркана и настойчиво карабкается все выше.

Убогие аульные домишки почти по крыши еще завалены снегом. Со степей веет шершавый, пронизывающий ветер.

Неуютно. Неприкаянно. Одиноко. Голодно.

Далеко-далеко страна воюет с проклятым Китляром. Аул нередко оглашает истошный женский плач. Поштабай Нуркан доставляет из райцентра Марьевки «қара қағаз» – черная весть о земляках-азаматах, павших на ратном поле смертью храбрых.

Все больше моих аульных дружков безотцовщиной мыкают горе. И они, замечаю, косо по



глядывают на меня, оттого, что я, неміс-бала, расту благополучно с отцом-матерью в просторном деревянном доме при медпункте.

Однажды папа вернулся из Марьевки мрачным, подавленным. Щеки запали, нос заострился. Я сразу почувствовал неладное. На следующий день и мама ходила заплаканная, растерянная. Затихла и сестренка, только-только начинавшая лопотать. Мама, тихо плача, весь день усердно крутила ручную мельницу – жернов на камне-подставе. Из ячменя, пшеницы и овса стряпала хлебцы и сушила их на противне в пузатой русской печке, занимавшей полкомнатушки.

Чуяло мое сердце: не к добру.

Папа молчал. Пропадал в медпункте.

Мама не сдержалась, шепнула мне:

– Папу забирают.

– Куда?

– В трудармию.

– На войну? – встрепенулся я.

Я ведь знал: папа семь лет служил в рабоче-крестьянской армии. Он парашютист. Ворошиловский стрелок. Лейтенант медицинской службы. У него ГТО первой степени. Уж он-то задаст фашистам перцу. Будет мне что сказать моим дружкам-тамырам.

Мама не ответила.

– А мы как?

– Мы, может, переедем к тете Гульде.

Я, глупец, обрадовался. Вот здорово! Гульду-тате я очень люблю. Она всегда шутит, смешит. Еще на Волге, в Зигельберге, я с мангеймовскими духовиками был на ее свадьбе. Теперь она живет в селе Куприяновка, в нашем же районе, в пятидесяти километрах от Марьевки. Ее мужа, онкеля Сашу, тоже забрали на лесоповал в Сибирь. У тети Гульды две дочки – Сельма и Альма. Вместе нам будет веселее.

Я живо представил, как сообщу свою новость Аскеру, Салиму, Темешу. «Коке моего забирают на фронт. И я уезжаю». «Куда?!» «Далеко». «Насовсем?» «Да». И все мои дружки пригорюнятся и позавидуют.

– Дурачок! – сказала мама.

Почему? Неужели я что-то не понимаю?

На следующий день, утром, возле медпункта остановился аулсоветский заморенный мерин, запряженный в сани-кошевку. На передке, согнувшись в три погибели, в облезлой жеребячьей дохе, сидел подслеповатый сторож магазина Тайшик. Вокруг толпилось несколько стариков аульчан и соседка Балкумис. Папа, высокий, поджарый, в буденовке, в шинели, перехваченной в поясе кожаным ремнем с медной, со звездой, бляхой, в ладных командирских сапогах, с тугим рюкзаком за плечами, обнял маму, что-то ей говорил (я только

расслышал: «Анья! Анья!»), расцеловал спящую Эльму, потом крепко прижал меня к себе. Было ужасно грустно, и я еле сдерживал слезы. Я впервые прощаюсь с папой и впервые осознал, что нам без него будет худо. Вчерашняя радость по поводу возможного переезда к тете Гульде в Куприяновку мгновенно улетучилась.

– Ты теперь опора в семье. Слушайся маму, – сказал папа, и я заметил, что голос его дрогнул, кадык на тонкой шее дернулся вверх-вниз и белесые ресницы затрепетали. У меня замерло сердце.

Мы с мамой вышли провожать папу.

– Доброго пути, першыл! – приветствовали его старики.

– Пусть тебя поддержит аллах!

– Скорее вернись.

– Вот укройся моим тулупом, – прогудел в сивую бороду великан Жайлаубай. – Передашь назад с Тайшиком.

Папа порывисто обнял бородача с суковатым посохом, плюхнулся в кошевку.

– Bleib gesund, Anja! – сказал папа. – Береги детей.

Мама будто помертвела, стиснула зубы, побледнела, черные, чуть раскосые глаза заблестели.

– Аман бол, першыл! Марджу твою и детей в беде не оставим. Присмотрим.

Тайшик дернул вожжами. Дремливый мерин

нехотя перебрал ногами. Кошевка завернула за угол.

Мы с мамой вернулись в сразу осиротевший, непротопленный дом.

Ни о чем говорить мы не могли. Да и не хотелось.

День тянулся бесконечно. Холодный и ветреный.

Встречаться с дружками-тамырами тоже расхотелось. И похвастаться перед ними о предстоящем переезде в Куприяновку не было желания.

Тайшик вернулся через день. Передал Жайлаубаю тулуп, а маме – записку, написанную чернильным карандашом по-немецки.

Мешая русские-казахские слова, Тайшик кое-как объяснил, что першыл (фельдшер) «аман-сау» (жив-здоров), доехал до аулов Кенес и Орнек, а дальше его повезет местный шабарман-возница до Явленки – райцентра Ленинского района. Оттуда его как мобилизованного районным комиссариатом доставят в область – в Кызыл-жар. Э-э... через две-три ночевки окажется на месте.

– Топка есть? – спросил Тайшик.

– Есть. До лета хватит, – ответила мама.

– Нет – так гауари. Достану.

В записке, написанной крупным корявым почерком папы наспех, заключалась и для меня задачка. Папа писал: мама насушила мне

в дорогу шестьдесят пять сухарей. В день я сгрызаю пять-шесть. На сколько дней мне их хватит? Посчитай. Вернусь – спрошу.

Задачка оказалась для меня непосильной. Я только недавно научился считать по-русски и по-немецки до ста. По-казахски добрался до сорока, но слова (қырық) – как ни старался – выговорить не мог. Почему-то получалось «хырх» или «хирх». Тамыры мои умирали со смеху. Шестьдесят пять сухарей мне показалось очень много. Ну, и на сколько дней их хватит? Делить и умножать я не умел. Я только прибавлял и вычитал. Задачка не давала мне покоя. И я находился в постоянном удрученном состоянии. Вот приедет папа и спросит: «Ну, на сколько дней хватило мне маминых сухарей?» А у меня нет ответа. Какой ужас! Какой срам! Лучше провалиться сквозь землю, чем не выполнить поручение папы.

Дни тянулись мучительно. Мама меня на улицу почти не пускала, а дома я не находил себе места. Нянчил сестренку, крутил постылый мельничный жернов, рисовал единственным красным карандашом, следил за огнем в печке, слонялся по углам, смотрел в окна.

Потом записки от папы пришли из Явленки, из Петропавловска, папа утешал, слал приветы, одобрял-подбадривал, а у меня из головы не выходила задачка про сухарей. Сухари снились мне длинными ночами.

Я принялся считать так: шестьдесят пять минус пять – один день; шестьдесят минус шесть – два дня; пятьдесят четыре минус пять – три дня; сорок девять минус шесть – четыре дня.

Но так до конца и не сосчитал. Запутался.

Обратился к маме.

– Ой, не спрашивай! Лучше, если бы рюкзак был полон сухарями. Да яйцами. Да шматком сала. Да где возьмешь?

Кое-как растолковал свою незадачу своим тамырам-корешам.

– Сухари не нәрсе? – спросили они.

Объяснить вразумительно я не смог.

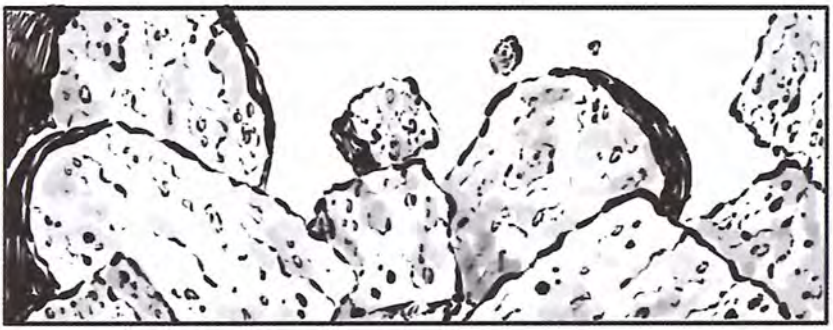
– Нан, – осенило меня.

– Какой нан? – спросили мои тамыры. – Русская бөлкé (булка)? Или баурсак? Или тоқаш? Или таба-нан?

– Кишкентай нан, – пояснил я и на всякий случай добавил. – Лепешка.

– Ә?! – воскликнули дружки. – Шестьдесят пять лепешек? Ничего себе! Тогда курсак твоего коке не пропадет. Мне апа за день дает отсилу пол-лепешки и миску айрана. А тут пять-шесть! Ойдойт! Ешь – не хочу!

Восторг моих дружков я разделить не мог. Видно, сухари – не совсем лепешка. Да и не совсем нан.



65-5
30-3
54-5
34-4
60-6
43-4
49-6
39-5

гадир давал банку обрата. Баскарма выписал полпуда ячменя. Братья Сейтходжа и Кали как-то передали кус вяленой говядины. Мама обменяла кофточку и юбку из Энгельса на какие-то аульные харчи.

— Если папа через месяц-другой не вернется, пойду работать в колхоз, — сказала мне мама. — Ты уже большой, за домом и Эльмой присмотришь.

Я и сам чувствовал, что уже большой. Осенью собирался в школу. Пусть в казахскую. Что делать, если ближайшая русская школа находится в двадцати пяти километрах?

Еще одно письмо от папы вскоре пришло из Петропавловска. Он писал, что жив, здоров, работает пока чернорабочим на военном заводе, но обещали назначить помощником врача. Трудармейцев-немцев свезли со всей области несколько сот человек. Среди них есть и знакомые волжане. Многие очень плохо говорят по-русски, а руководство запрещает обращаться по-немецки. Трудармейцев бригадами-колоннами отправляют поездом в Красноярск, Краснотурьинск, Челябинск, Нижний Тагил. Но он, папа, еще не окончательно прошел комиссию. И, главное, за него активно ходатайствуют якобы райздравотдел и особенно — главврач района Яковчук, хирург Лебедева и аптекарь Бронштейн.

О сухарях папа больше не упоминал, и я с облегчением догадался, что он давно их все съел, а коли так, надо полагать, мне уже не

стоит ломать голову о том, насколько хватит того, чего уже и в помине нет.

Жутко исхудавший и оттого даже немного на себя непохожий папа вернулся через месяц. Медкомиссия обнаружила какие-то нелады со здоровьем, а райздрав и райком все-таки настояли на своем: медработников в аулах катастрофически не хватало.

Первые дни после возвращения папы я еще робел. Вдруг папа вспомнит о задачке про сухарей, а мне и сказать нечего.

Обошлось.

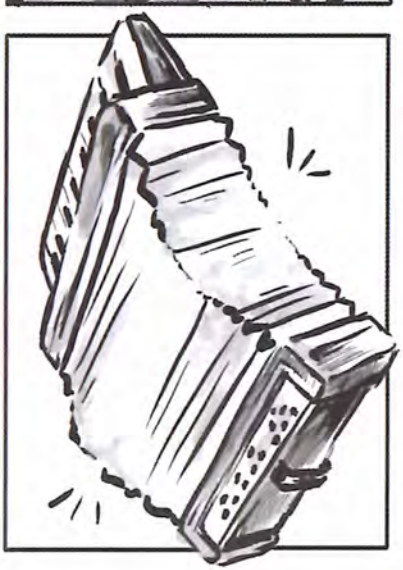
О сухарях папа, видно, напрочь забыл. Слишком много других забот и хлопот обрушилось на его голову.

А до окончания войны папе еще шесть раз присылали повестку в трудармию, но каждый раз добрые люди в аулах и районном центре добивались ему отсрочки.

Несказанно повезло мне. Как бы сложилась у меня судьба без папы – и представить себе не могу.

Ныне прошло ровно семьдесят лет с того весеннего слякотного дня в приунывшем нашем ауле перед бурным половодьем Есиля, а папины сухари той поры и поныне в моей памяти.

15.08.12.



В ПУТЬ ЖУРАВЛЕЙ ПРОВОЖАЮ ОДИН Я...

Слух о том, что в нашем доме при медпункте остановилась откуда не возьмись труппа гастролеров, мигом облетела наш захудалый аул на берегу Есиля. Стояло голодное лето сорок шестого или сорок седьмого года прошлого, понятно, века.

На всех углах-закоулках гу-гу, шу-шу. В забытых богом и людьми аулах тех лет редко что случалось. И вдруг такое событие!

– Эй, слышали? Артисты приехали!

– Откуда?

– Құдай біледі. Аулна́й направил их к першылу.

– Да. Я видел. Крохотные такие, потешные.

– Говорят, ергежейлі.

– Что за ергежейлі?

– Лилипуты вроде, что ли...

– Национальность такая?

– Нет, племя.

– Апырайа?!

Я тогда учился в пятом или шестом классе. Лилипутов никогда не видел и даже слова такого не знал.

– И что они потеряли в нашем ауле?

– Ойын будут показывать.

– Где?

– В школе. Где еще?

Действительно, все большие мероприятия, общие собрания, концерты и кино неизменно проходили в просторном школьном холле. Больше негде. Клуб в нашем ауле появился многие годы спустя.

Ну, а наше жилище при медпункте считалось в ауле самым приглядным: дом не саманный – деревянный, с крыльцом, и пол деревянный, крыша покатая, дерном выложенная. Чисто, более-менее уютно. Куда еще отправишь заезжих гостей? Да и першыл-фельдшер человек обходительный, понятливый, из спецпереселенцев. Немало разных странников-скитальцев перебывало в нашем доме.

Дом состоял из четырех комнат: в двух располагался фельдшерско-акушерский пункт, которым заведовал отец. Две комнатушки отводились под жилище: условно – спальня-гостевая и кухня-прихожая с громоздкой русской печью. Здесь был предназначен уголок для меня.

Когда я вошел к себе – обомлел. За шаткой, грубо сколоченной столешницей, плотно сдви-

нувшись, сидела и обедала ватага незнакомых, странного обличия людей: все коротконогие, коротконалые, неестественно миниатюрные, точно кукольные, с большими головами. Они ели молча, сосредоточенно. Видно, устали и проголодались с дороги. Мама выставила на стол чугунок с картошкой, два пучка зеленого лука, десяток круто сваренных яиц, каравай ржаного хлеба и чайник с солодковым чаем. Лучшего пиршества в те годы было не сыскать. Во главе стола восседал крутолобый, курчавый крепыш-коротыш в ярко красном жилете поверх белой сорочки и с пестрой «бабочкой» на жилистой шее. Вот эта «бабочка» и заворожила меня сходу. И еще удивило то, что коротыш обладал густым, утробным басом.

– Mein Sohn... Сын, – сказала мама.

– Herold.

– О-о-о! – зарокотал коротыш.

– У вас, фрау Анна, такой взрослый сын?!

Гости все разом выставились на меня и принялись шумно выражать свой восторг, роняя русские фразы с непонятным мне акцентом – не казахский и не немецкий. И между собой они щебетали на инородном языке. «Выходит, тоже пришельцы, устели-поле, гонимое ветром, – подумалось мне – Может, тоже спецпереселенцы?»

Я, тщедушный, болезненный, бледнолицый подросток, сидел среди них, как заморенный

гусак среди цыплят. Коротыш взял меня под обстрел: как учусь, в каком классе, почему в казахской школе, чем увлекаюсь, почему на костылях. Я, смущаясь, отвечал, как перед строгим наставником. Держался коротыш надменно, важно, говорил раскатистым басом, пучил глаза, забавно перебирал короткими розовыми пальчиками с твердыми, отполированными ноготками. Три девицы-куколки, неопределенного возраста то и дело восклицали: «О-ля-ля!», «Как интересно!», «Прелестно!», жеманничали и уминали картошку, хрумтели лучком, мелкими глотками пили чай. Двое напарников коротыша-старшóго тоже что-то мычали: «Ах, так!», «Вот как!», «Любопытно!». Кто-то из гостей пошутил: «Маугли», и все рассмеялись. Я понял: это сказано в мой адрес, а как это следует воспринять, не уразумел.

– На аккордеоне ты играешь? – допытывался коротыш, кивнув в уголок за кроватью.

– Немного.

– А на скрипке?

– Папа.

– О-ля-ля! – заверещали девицы-куколки.

– Вот как! – одобрили напарники.

– Сыграй-ка нам! – приказал коротыш.

Видно, он был главарем-вожаком труппы, вел себя уверенно, решительно, басил отрывисто.

Я послушно уселся на табурет, развернул аккордеон, привычно пробежал пальцами по басам, взял несколько аккордов в миноре.

– Ах, прелесть! – дружно отозвались девицы-куколки и задрыгали ножками. Одна кокетливо закатила глазки.

– Какую-нибудь немецкую песню, – подсказал коротыш.

Я сыграл «Du, du liegst mir im Herzen»».

– Гут, – пробасил коротыш, пальчиками отбивая такт о край стола. – Еще!

Я сыграл «Дунайские волны».

– Молодец! – похвалил коротыш. – Еще!

Польщенный похвалой, я дерзнул, как мог, сыграть «Прощание славянки». Кажется, более-менее получилось.

– Одобряю, – пробасил коротыш. – Все эти три вещи во время нашего представления и сыграешь. Договорились? Abgemacht?

– Ладно...

Зашел из медпункта папа. Высоченный, стройный, поджарый, он смотрелся среди гостей исполином.

– О, Карл Фридрихович! – возопила вся ватага.

По всему, папа мой им понравился еще при первом знакомстве в аулсовете.

– Ваш сын, – торжественно заявил коротыш, – нас выручил. Согласился нам поды-

грывать. Наш музыкант находится на гастролях в другом месте.

– Хорошо, – дернул плечом папа.

– Если его репертуар вас устроит.

– Устроит. Еще как устроит, – произнес коротыш-старшой. – Я уже примерно прикинул программу.

– Еще просьба будет? – строго спросил папа.

Видно, аулна́й – председатель аулсовета поручил ему принять гастролеров, как положено, а папа привык безропотно исполнять приказания властей. Спецпереселенцу что остается? Не приведи бог иметь дело с комендантом из районного управления МВД.

– Что вы, что вы, любезный Карл Фридрихович! – замахал ручонками коротыш.

– Какие просьбы? Большое спасибо за все!

– Спасибо, спасибо, – вразнобой подхватила ватага.

А писклявая кокетка с насурьмленными бровками с намалеванными губками добавила:

– Данке шён!

– Карл Фридрихович, – вкрадчиво пробасил коротыш. – В заключении нашего концерта мы поем одну трогательную, печальную песню-балладу, и было бы кстати, чтобы отдаленно тихо звучал – как фон, понимаете? – грустный скрипичный мотив, а? Может, согласитесь?

Папа вскинул редкие белесые брови, пошевелил длинными, крупными пальцами.

– Просим, просим, – враз загалдела ватага.

А писклявая женщина вновь вставила:

– Bitte, bitte!

Скудная снедь на столе была съедена, желтоватый солодковый чай выпит.

Папа, не торопясь, достал из футляра скрипку, долго настраивал ее, наканифолил смычок, проиграл для пробы несколько пассажей.

– О-ля-ля! – завизжали девицы и захлопали в ладошки.

Папа, очень стараясь, сыграл старинный немецкий вальс, потом – игривую полечку собственного сочинения, потом – марш, потом – принялся за «Интернационал».

– Не то, – насупился коротыш.

– Нам бы нужно что-то печальное, трогательное, задушевное. Для фона. Понимаете?

Папа, подумав, сыграл тягучий похоронный мотив. Мама говорила, что этот мотив исполнял деревенский духовой оркестр в день похорон Ленина.

– О, нет, нет! – замахал ручонками большеголовый коротыш. – До этого пока не дошло.

– Ну, и ладно, – жестко ответил папа и стал укладывать скрипку в футляр.

Возникла тягостная пауза. Лилипуты обескуражено переглянулись, потупили взоры.

Папа стремительно вышел. Я понял его так. Во-первых, он, такой рослый, с выправкой офицера рабоче-крестьянской красной армии (чем знаю, очень гордился) плохо представил себя со скрипкой среди заезжих лилипутов. Это, действительно, смотрелось бы забавно. Во-вторых, тягучих, слезливых, заунывных, душещипательных мелодий он не жаловал. Ему были больше по душе светлые вальсы и бравурные марши, поднимающие дух угнетенных и рабов. А в-третьих, само представление этих потешных коротышек он воспринял явно настороженно. Возможно, его раздражал и излишне самоуверенный тон спесивого, басовитого старшóго.

Демонстративный уход папы, видно, все же озадачил труппу. Лилипуты были растеряны. Все вдруг быстро-быстро залопотали на своем диковинном наречии. Потом мужичок-с-ноготок гневным басом оборвал возбужденный ор.

Я подумал: откуда эти странные люди? На каком языке изъясняются? Каким ветром занесло их в наши края? О чем они думают? Какие заботы их гложат? Кто кому кем приходится? Неужели эта писклявая кокетка – супруга коротыша? А остальные кто? Чувствовалось, что они ущербные люди, что они тоже странники на этой земле, невольные скитальцы и жить им, должно быть, очень несладко. У

этих маленьких людей большое горе. Попробуй сладить с ним и выстоять в этом суровом, неуютном мире. В их натужном смехе, трескучей речи, жестах, печальных взорах мерещились мне неизбывная скорбь. Но расспрашивать их не решался. Я вообще не знал, как подобает себя с ними вести. Казалось, совершенно невозможным вмешиваться в их таинственный мир.

– До представления еще четыре часа, – прогудел старшой. – Будем отдыхать. И ты, Herold, отдохни. Я потом скажу, что́ и в какой последовательности подыграешь нам. Договорились?

Я кивнул и удалился на родительскую половину. В назначенный час мы всей ватагой потянулись в школу. Впереди озабоченно семенил коротыш с малюсеньким чемоданчиком с нехитрым реквизитом и с папочкой подмышкой. Вид у него был строгий и важный. Чуть позади держалась, шла вперевалочку, его писклявая мадам. За ней все остальные. Завершал шествие я с аккордеоном за спиной, тяжело опираясь на костыли. Тут же пристроилась к нам несколько аульных шкетов-шалопаев, похихикивая, кривляясь и подражая развинченной походке лилипутов.

Просторный школьный холл был до самого крыльца битком набит. На представление

собрался почти весь аул: школьники, учителя, интернатовцы, малышня, колхозники, старичье. Ну, как же! Ойын ведь. А на зрелище исстари стекаются и стар, и млад. Так уж заведено. Ойын, как и той, для казаха – первое дело. Особенно когда во всей округе ничего не происходит. Попробуй усиди тут дома. За импровизированной сценой находились распахнутые двери трех вместительных классов. Боковой класс отвели артистам. В двух других классах впритык к сцене расположилась вездесущая аульная малышня.

Я с трудом протиснулся к сцене, уселся на стульчик в уголочке, прислонил костыли к стенке, закинул ремни-лямки аккордеона на плечи. Из углового класса вынырнул коротыш, тщательно расчесанный, напомаженный, в трико, весь какой-то плотный, как тугой войлочный мяч, шепнул мне:

– Начнем с «Прощания славянки». Играй торжественно, в маршевом темпе. Понял? Играй до тех пор, пока я не подам знак. Начали!

Я проиграл на басах зачин и бравурно прошелся по клавишам. Зрители затихли. Через несколько тактов на середину сцены выкатился, как колобок, коротыш-конферансье и, напрягая голос, ни дать, ни взять Левитан, оглушил школьный холл раскатистым басом.

– На-чи-на-ем... кон-церт... артистов областной филармонии...

Аулчане яростно захлопали. Послышались-посыпались реплики на казахском.

– Вот луженая глотка! Ему бы коров пасти.

– Росточком с самовар, а орет на всю степь!

– Филармония – што такой? Артист, что ли?

– Интересно, он тоже на баб зарится?

– А как ты думаешь? Небось, как клещ вцепится. Не оторвешь!

– Ой, алла-ай... чего только не увидишь?!

Сделав паузу, властным жестом призвав всех к тишине, коротыш еще понизил голос, торжественно продекламировал какой-то патриотический стих и закончил свой спич на важной ноте:

– Да здравствует... наш великий вождь... генералиссимус... товарищ Сталин! Жасасын!

Опять со всех сторон посыпались реплики-комментарии простодушных аулчан.

– Ойпырмай, ты посмотри на него!

– Как бы не лопнул от усердия.

– Еще и по-казахски говорит.

– Кто-то научил, видать.

Зрители ладоней не жалели. Дубасили, будто из кошомных подстилок пыль выбивали. Коротыш эффектно поклонился, раскинул ручки и засеменил в боковой класс.

Оттуда подал мне знак:

– Давай! В темпе!

Я мощно нажал на басы. Что же дальше будет? Под звуки «Прощания славянки» вышла на сцену вся живописная труппа крохотных артистов. Вышли, поклонились, перегруппировались – по двое, по трое в одиночку, гуськом – и в такт марша зашагали торжественно то вперед, то назад, то в одну сторону, то в другую, то расходясь, то сходясь, да так слаженно, энергично, зрелищно, что аулчане зацокали-защелкали в знак одобрения языками. Так в аулах никто никогда не ходил. Маленькие люди минут пять протопали по сцене мелкими, но пружинистыми шажками и двигались так самозабвенно, что зрители пришли в восторг.

– Ну, потеха! Міне қызық!

– Как на параде.

– И сколько они будут так вышагивать?

– Пока твоя башка не закружится.

– А Гера-то наш наяривает, будто камчой их подгоняет.

– Может, и нам пристроиться, а?

– Куда тебе, косолапому?!

– Стоп! – приказал мне коротыш, проходя мимо меня, и я перевел дыхание.

Возникла небольшая пауза. Артисты за это время успели переодеться и принялись показывать пирамиды.

Я медленно, тягуче наигрывал «Дунайские волны». Артисты демонстрировали акробатические трюки. Делали разные стойки, «мосты», поддержки, взбирались друг на дружку, вставали на руки, диковинно сплетались. Мускулистый крепыш-коротыш держал на плечах миниатюрных девиц. Одна даже встала на его массивную голову, балансируя, удерживала равновесие, опираясь одной рукой.

Вскоре акробаты покрылись потом, порозовели лицами, задышали тяжело. Трюков было много. Дунайские волны под моими руками слабели, выдыхались. Публика была поражена. Акробатов во всех окрестных аулов не водилось.

– Эй! А этот коротыш – силач.

– Ни дать, ни взять как жеребчик в косяке.

– Ты видел, как у него мужское достоинство бугрится под штанами?

– Бигайша, небось, давно это приметила.

Аульная жалмерка Бигайша зарделась, стрельнула глазищами в охальника:

– Уй, бесстыжий!

– Не слабак, видишь, по части баб, – проронил, погладив усы, бригадир, угодник аульных вдов.

– Да у него только бугрится, как паховая грыжа у Сеитходжи.

– Тьфу, трепло!

Подкатил ко мне весь багровый коротыш, просипел:

– Сыграй что-нибудь громкое, бравурное. Чтобы заглушить мое дыхание. Понял?

В мою голову ничего не приходило. И я мощно заиграл «Мы – кузнецы». Папа в конце холла победно вскинул руку. «Молодец, мол, одобряю».

– Мы – кузнецы. И дух наш молод,

Куем мы счастия ключи.

Вздымайся выше, наш тяжкий молот,

В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи! –

негромко подпевал я себе, чтобы невзначай не сбиться с четкого ритма.

А трюк был действительно сложный. Коротыш напружинил грудь, набычился, подбоченился, расставил ножки, сказал: «Опп!», и двое напарников мигом вскочили ему на плечи, держась за руки и отставив ножку в сторону. Коротыш еще раз прохрипел: «Опп!», и на третью ступень ловко взобрались две девицы. Аулчане замерли. Никто не шелохнулся. И вдруг, сделав сальто, по-обезьяньи вспорхнула самая крохотная, изящная лилипутка, оперлась на своих товарок ручонками и задрала ножки ввысь. Крохотная юбочка спала вниз на ее едва заметные грудки и между белых тугих бедер блеснули розовые, узкие, как лента, трусики. Тут из холла опять посыпались вольные реплики:

– Ойбай, ана қара! Қатын ба, қыз ба? Баба или дева?

– Э, как узнаешь, не пощупав?

– Смотри! Томпайып тұр!

– Ой, ғажап! Подложить бы ее под бригадиром Кабиденом.

– Что ты! Он же ее раздавит!

– Так как же к ней пристроиться?

– Нешауа! Это лошадь не всякого выдержит, а баба – сдюжит.

Коротыш-старшой дышал, как загнанный мерин. Жилы на висках напряглись так, что, казалось, вот-вот лопнут. Ножки подрагивали. Грудь ходила ходуном. Я из последних сил нажимал на басы.

– Опп! – еле выдохнул коротыш.

И акробаты, как мячик, спрыгнули с него, рассыпались по сторонам, улыбаясь, сгибаясь в поклонах и разводя руками.

Номер этот, видно, восхитил моих аулчан.

– Браво! – задубасил в ладони и мой папа в конце холла.

Разгоряченные артисты шмыгнули в боковой класс. Холл продолжал комментировать зрелище на все лады.

– Славно!

– Молодцы!

– Кто бы подумал? Эй, Кали, ты смог бы так взобраться на Сеита?

– Куда ему? Он с трудом взбирается на свою Айганшу.

– Ха-ха-аа! Ие-хе-хе! Скажешь тоже.

– А Кабиден-верзила мог бы эту крохотку-кызымку только на ладонь усадить.

– Да он ее, как пылинку, сдует.

– Или проглотит невзначай.

Зрители совсем уж развеселились-расшалились.

Все еще со свистом дыша, коротыш-конферансье объявил:

– Попурри из казахских народных песен. Исполняет Herold.

– Эй! Это еще кто такой? – послышалось из холла.

– Да Гера наш! Сын першыла.

– Ой, айналайн, давай!

Я доковылял до середины сцены, уселся на стульчик, выдержал паузу и заиграл знакомые мне мелодии – «Қамажай», «Балқадиша», «Сырымбет».

Аулчанам это понравилось.

– Пәлі!

– Жаса!

– Маладес, Сары-бала!

Папа хлопал громче всех. А из бокового класса донесся гуд коротыша:

са выпорхнули три девицы, схватились за ручки и озорно сплясали, дрыгая голыми ножками, тряся грудками, виляя задами. Музыка их подбодрила, они с удовольствием закружились в вихре, запорхали, будто невесомые ярко-крылые существа.

– Ой, айналаиндар!

– Это же гурии небесные!

– Ими бы любоваться за чашей кумыса.

– Они мертвого поднимут.

– До греха доведут. Душу щекочат.

Потом две пары, картинно откинув головы, закружились в вальсе – под старинную немецкую песню, которую часто пела мама, аккомпанируя себе на гитаре.

– Du, du liegst mir im Herzen,

Du, du liegst mir im Sinn...

Концерт продолжался. Прозвучало несколько инородных песен на незнакомом языке – соло и дуэтом, в два голоса, стихи, басни и шутки на русском языке, в которых, как мне показалось, никто ничего не понял. Не вникал в суть и я – устал, был взбудоражен, ныла нога и кружилась голова.

В заключении концерта вся труппа выдала, судя по всему, свой коронный номер – в три голоса пронзительно и печально затянули надрывную, скорбную песню-балладу. Я смекнул: именно для этой песни понадобился

лирический скрипичный фон. Прямо-таки напрашивались печально-заунывные вкрапления, искусные повторы, музыкальные узоры, длинные, быстрые пассажи в паузах мелодии. Ах, хотя бы бемольные тремолы на мандолине. Да и гитарные переборы были бы уместны. Вклиниться со своим аккордеоном в эту душевную песню я не решился. Чувствовал: и это можно было созвучно оформить, но моего умения явно не хватило.

Пели лилипуты самозабвенно, с душой, с дрожью в голосе. У девиц – я видел сбоку – заблестели слезы. Коротыш отдаленно гудел, будто вышивал-выделывал, плел из звуков орнаменты.

Из-за трехголосья я слов не разобрал. Пели лилипуты о чем-то очень близком, сокровенном, о безвозвратно-печальном, о потере любви, счастья, об одиночестве, о неком безмерном горе. Я так почувствовал. Это была песня-судьба, песня-боль, песня – неизбывная тоска. Запомнился мне только рефрен песни:

– В путь журавлей провожаю-ю-ю...

И как выдох, отчаяние, вопль души:

– Один я...

Это «один я...» всколыхнуло и мою душу, потрясло меня, довело до спазмов сердца.

Я уронил голову на аккордеон и с трудом сдерживал слезы. Жалость пронзила все мое

существо. Мне стало жалко моих родителей, очутившихся на чужбине, оторванных от всего родного, вынужденных тихо и покорно переждать черную полосу жизни в надежде, что когда-нибудь – особенно теперь после войны – им разрешат вернуться на родину, на Волгу. Жалко стало себя, лишенного детства, больного, обреченного передвигаться на костылях. Жалко всех обездоленных и бесправных, высланных по чьей-то злой воле в захудалые казахские аулы неизвестно за какие прегрешения. Жалко аулчан, которых долгая война и неурожайные послевоенные года превратили в бишаринские тени, лишенные всякой радости и удовольствий. Жалко этих крохотных людей – лилипутов, прибывших к нам неведомо из каких краев и подобным образом добывающих хлеб насущный. Улетает, улетает вольный косяк журавлей, покидает родину, ищет свое счастье, свою долю, и провожают его обреченные на вечное одиночество.

– В путь журавлей провожа-а-ю-ю...

Один я.

Пронзительно-печальная песня и скорбное, как молитва, искусное, душевное пение тронули, видно, и моих аулчан. Все затихли. Завздыхали. Некоторые смахивали слезы.

– Апырай, душу переворошили.

– Все наши беды-горести напомнили.

– Это неутешный зар, вопль души. Плач.

– Ай, бедные, бедные... Ай, бишара!

...Из школы мы вернулись взволнованные, понурые. Ни о чем говорить не хотелось. И артисты, должно быть, вымотались. Молча поели то, что мама собрала на стол: картофельное пюре, простоквашу, ржаной хлеб – и улеглись спать.

«Как же гости расположатся на ночлег в тесной комнатушке?» – подумал я. Три девицы с неимоверной ловкостью залезли на русскую печь, постелив под себя рогожку и укрывшись старым, еще с Волги, облезлым пледом. Двое бесцеремонно взобрались на мой лежак и устроились валетом. А коротыш-старшой улегся на обшарпанном сундуке, завернувшись в полушубок папы.

Мама улыбнулась и сказала мне:

– Тебе я постелила на топчане в медпункте.

Ночь я провел беспокойно. Поскрипывал подо мной шаткий и жесткий амбулаторный топчан, пахло лекарствами, рукомойник в углу время от времени ронял увесистые капли в ведро, за окном тяжело вздыхали коровы, перхали овцы, брехали пустолайки, некстати дурниной заорал неокрепший петушок. А перед глазами мельтешили сказочные гномики, строили рожи, бегали вперегонки, кувыркались. В ушах, как наваждение, звучала скорбная, заунывная песня: в путь журавлей провожаю один я.

Ближе к рассвету я все же провалился в сон. И вскоре скрипнула дверь и послышался голос папы:

– Подъем, mein Sohn!

Я с трудом встал. Нестерпимо ныла больная нога. Я ополоснул лицо под рукомойником и, постукивая костылями, отправился на кухню. Артисты чинно сидели за столом и завтракали чем Бог послал: попеременно макали ржаной хлеб в сметану в миске и запивали ячменным кофе.

– О, Herold, как спалось?

– Ты вчера нас здорово выручил.

– Молодец! Очень кстати пришлось.

– Данке, фрау Анна.

– А куда с утра делся Карл Фридрихович?

Вскоре подъехал скрипучий тарантас аульного бастыка с заморенным, полуслепым аулсоветским мерином в упряжке. Артистов надо было доставить в соседние аулы.

– В путь! В путь! – пробасил коротыш.

– Будь здоров, Herold!

Он наморщил лоб, сдвинул брови, достал из внутреннего кармашка жилета пухленький бумажник, порылся-покопался в нем короткими пальчиками с твердыми, тщательно отполированными ноготками, извлек среди бумажек красную тридцатку и торжественно протянул мне.

– За твои старания. Спасибо!

От неожиданности я отшатнулся было, но коротыш ловко засунул красную купюру в карман моих брюк.

Гости шустро взобрались на тарантас, и конюх Сальтай дернул вожжами.

Мы с мамой долго смотрели им вслед.

В ушах звенело.

– В путь журавлей провожаю один я.

У меня опять сердце сжалось и подкатило к горлу. Красную тридцатку я передал маме.

– Хорошо, – сказала она.

– А то никак не могу рассчитаться с налогом. По яйцам, по маслу сдала. А по шерсти сдам теперь, купив у соседей.

В те годы государственные налоги ложились на всех аулчан тяжким бременем. Лишь сдав налог, можно было малость вздохнуть.

А о возвращении на родину комендант и не заикался.

30.06-05.07.2012.

АУЛ В СНЕГУ

Аул в снегу. Горбатятся могучие сугробы. Дома стали маленькими, приземистыми. Буранная выдалась нынче зима. Снег приглушил все звуки.

Непривычно тихо и просторном деревянном доме. Уже не рано. Но за окном еще висит плотная утренняя мгла. Бабушка растапливает печь. За дверью моей комнаты слышится шорох, мягкие шаги, нетерпеливое сопение. Я слышу все это сквозь дрему и улыбаюсь. Видно, Иринке нужно срочно сообщить мне очень важную новость. И она не дождется, когда я проснусь.

Наконец, я решительно выныриваю из-под теплого одеяла. И в то же мгновение распахивается дверь, и у порога вырастает Иринка. Она в теплом шерстяном костюмчике, на ножках - войлочные сапожки. Черные глазки возбужденно поблескивают.

- Доброе утро! Ты знаешь что, знаешь что?

– Утро доброе! - отвечаю.

– Пока ничего не знаю.

– Хм-м... - Она снисходительно смотрит на меня и начинает тараторить, - вчера я никак не могла «К» написать. Не получается и все.

А ночью подумала и теперь могу. Вот!

Она бросается к столу, берет бумагу и уверенно выводит карандашом букву «К». Потом еще и еще. Стройный ряд «К».

– Ух ты! Молодец!

– Теперь только «Ч» осталось.

– Иринка задумчиво смотрит вдаль.

–Может быть, завтра ночью вспомню.

Недавно ей исполнилось пять. Дедушка подарил внучке букварь и карандаш. Целыми днями не расстается Иринка с букварём. Она уже знает все буквы и неплохо складывает их в слова. Подолгу разглядывает картинки и сама рисует, раскрашивает. Вопросов у нее уйма. Баба с дедой устали от ее бесконечных «почему». Вот и сейчас, когда я, застелив свою постель, собираюсь на улицу, Иринка спрашивает вдогонку:

- Папа, папа... а как читается воспитательный знак?

Бр-р-р... холодина! Я зябко поеживаюсь в своем куцем городском пальтишке. Из хлева, где стоят корова и овцы, струится пар. Ночью буран утих. Из-за косогора поднимается солн-

це. Кажется, она карабкается по заснеженным березкам. Но никак не может залезть на верхушки: каждый раз соскальзывает. Продрогло, должно быть, солнышко. В снегу вспыхивают зеленые, желтые, синие искорки. Он лежит пластами, будто крутая морская волна застыла на всем бегу. Вьется дымок над крышами заваленных снегом домов. Он тоже разноцветный. В одних домах топят дровами, в других - углем. Давно не бывал в ауле зимой. И потому все кажется мне необычным. Словно попал в снежное царство из сказки или вернулось детство.

Возле школы ватага ребят играет в снежки. Жаркий бой разгорелся на горке. Победители гордо стоят на вершине. Поверженные со всего разбегу бултыхаются в сугробы. Слышится звонок, и горка, и школьный двор мигом пустеют. Ирина приржалась носом к окну и ждет, когда я зайду в дом.

«Непременно привези дочь, слышишь. И не надо строить никаких иллюзий. Сама воспитывать буду. Сама!» - вспомнились мне строгие слова Ирининой мамы.

Почти полгода не видел я дочку. В день моего приезда она все цеплялась за подол бабушки и с любопытством взглядывала на меня. Но уже на второй день от робости ее и следа не осталось. Подошла ко мне с маленькой скрип-

кой в руке, приняла позу заправского музыканта, взмахнула смычком и сама не выдержала – заливисто рассмеялась.

– Ну, что тебе, папа, сыграть?

– А что умеешь?

– Ого!

– Невольно воскликнуля.

– Тогда сыграй «Дунайские волны».

– Пожалуйста!

И запиликала яростно. Такой вдруг поднялся визг, будто прищемили невзначай хвост нашей Мурке. Попиликала, попиликала, опустила смычок, вскинула ресницы.

– Что еще?

– Хм-м... Ну, сыграй Интродукцию рондо каприччиозо.

– Что? Что-о?

– Интродукцию рондо каприччиозо.

– А-а-а...

– Ирина похлопала глазами, наморщила лоб.

– Пожалуйста!

На этот раз замяукала целая кошачья капелла.

– Ладно, ладно, Ирина!

– Замахал я руками.

– Хватит! Иди на кухню.

Она посмотрела на меня с сожалением, вздохнула и потопала на кухню. Ещё долго доносился оттуда кошачий концерт.

Днем Ирина предоставлена обычно сама себе. Дедушка вечно занят. Он фельдшер и

отвечает за здоровье всех в совхозе: до обеда работает в медпункте, потом в школе и интернате. То прививки делает детям, то уколы. Вечером навещает больных на дому. Часто вызывают его и ночью.

У бабушки тоже хлопот хватает. Она санитарка в медпункте и по дому все успевает делать.

Ходит Ирина по комнатам, затевает с куклами разные игры. Охотнее всего она играет в школу. Посадит всех кукол, медвежат и обезьян в ряд и показывает им «Веселые картинки». Рассказывает сказки. Или объясняет, как пишутся буквы. Иногда приходит Айгуль, дочь Дяди Есима. Тогда они играют в магазин. А чаще всего Ирина смотрит в окно и рисует. Это так интересно! На белом листе бумаги вдруг появляются разные предметы. Дома с окнами на крыше и дверьми на половину стены. Деревья, над которыми кружатся, как самолеты, вороны. Снежные бабы. Человечки с растопыренными руками и ногами. Куклы в ярких платьицах.

Потом приходит бабушка, и они начинают варить обед. Ирина крутится возле и говорит без умолку. Сколько ей нужно рассказать! И про то, что она рисовала, что думала, видела. И про то, что вчера читал ей дед. И про то, как они играли с Айгуль. Бабушка смеется над остротами внучки и сама рассказывает

ей аульные новости. Обе веселые, довольные. Особенно довольна Ирина. Сегодня в обед можно не спать, потому что она с бабушкой пойдет в школу. Там елка для самых маленьких. Ведь скоро Новый год. А Ирина выучила много стихов и песен.

После обеда она надевает матросский костюмчик, красные валенки. Бабушка заплетает ей две косички с новыми белыми бантами,

– Ну, папа, я пошла, - говорит она озабоченно.

Возвращается часа через два. Торжественная, радостная. Щечки пылают с мороза.

В глазах блеск.

– Во! - говорит она, протягивая две тетрадки и карандаш.

– Приз получила.

– За что?

– Как за что?! Прочла «Что растет на елке?» и «Приди, приди, весна!». Хотела еще матросский танец сплясать, но музыки не было.

– И так хорошо! Раздевайся.

– Что ты?! Некогда, Отдохну немного и в клуб пойду. Там тоже елка. Может, больше подарков дадут...

В клуб Ирина идет с дедушкой. Он берет с собой скрипку. Дедушка руководит еще и совхозным струнным оркестром. Вскоре Ирина приходит с большим кульком конфет.

– Вот и все, что сегодня заработала.

Разувается, аккуратно ставит в угол красные сапожки и сразу же принимается рисовать.

Вечер. Быстро сгущаются сумерки. Люди спешат домой. За окном скрипит снег. Бабушка затапливает печь. Застрекотал за аулом движок. В окнах мигает свет. Ирина целает включателем. Кладет свои книжки на стол, придвигает стул, деловито усаживается рядом со мной.

– Ну, начнем, пожалуй.

– Начнем, - говорю я и убираю свои бумаги.

Такой мы завели порядок. Занимаемся каждый день перед ужином. Чтение букваря - одно из любимых занятий Ирины. Сначала мы повторяем буквы. Потом читаем надписи под рисунками.

– Что это?

– Это карандашник-не задумываясь, отвечает Ирина.

– Да? Сомневаюсь, однако. Читай!

– «Пэ», - говорит Иринка, - е... пе... Пенал!

– Вот видишь. Другое дело. А то - «карандашник». Это что?

– Мухомор, конечно.

– Сколько «М» в слове «мухомор»?

– По-моему, два. Один - в начале, другой - где-то в конце.

– Допустим. А это?

Нарисован тонконогий вороной конь. Ирина читает первый слог – «ко» и решительно заявляет:

– Кобыла!

– Какая еще кобыла? Смотри: всего четыре буквы.

– Да тут мягкий знак. А я его не люблю.

– Почему?

– А потому, что он не слышится. А если не слышится, как его читать? Давай лучше почитаем текст.

Мы читаем тексты к большой букве. Ирина выучила их почти наизусть, но ей нравится читать их снова и снова. Потом я читаю рассказы и стихи из «Малышкиной книги» и «Мурзилки». Иришка внимательно слушает, прижавшись спинкой к теплому камину. Она живо впитывает в себя каждое слово. Радуется за мальчика Женю, который научился говорить «Р». Переживает Федорино горе. А когда мама заставляет сына темной ночью отнести ворованные огурцы в колхозный огород, едва не плачет. Так жалко мальчика! Конечно, сам виноват. Зачем же огурцы воровать?

– На сегодня хватит.

– Ну еще, папа. Еще один-один рассказик, - просит Ирина.

– Ой, как я люблю слушать. Всю бы ночь слушала.

Но тут бабушка зовет ужинать, и Ирина, вздохнув, складывает книжки.

Долог зимний вечер. Монотонным тик-так, тик-так отсчитывают время большие настенные часы. Простуженным голосом вещает совхозный радиоузел. Тихо за окном. Лишь временами ошалело налетает ветер - хмурый гонец белой ведьмы-пурги. И снова все погружается в тишину.

Я пишу. Ирина знает: мне мешать нельзя. Дедушка в смежной комнате тоже разложил на столе свои книги, журналы, бумаги и пишет, пишет крупными корявыми буквами. Шея его тонкая, жилистая, вся в глубоких морщинах. Рука тяжелая, натруженная.

– Что, деда, отчет пишешь?

– Да, Иринушка, отчет.

– Какой?

– Пока только месячный закончил.

– И осталось еще два? - осведомленно спрашивает внучка.

– Еще два, - устало вздыхает дедушка.

– Годовой и... и... карнавальный?

Дедушка смеется.

– Да, годовой и квартальный.

– А-а-а... - тянет Ирина и идет на кухню к бабушке.

Бабушка сидит у плиты и крутит свою старую прялку. Ирина устраивается на стульчике рядом. Мерно вращается веретено. Мелькают спицы. Мягко постукивает педаль. Из-под

пальцев бабушки тянется тонкая пряжа, наматывается на шпиндель. Пахнет овечьей шерстью, пылью, машинным маслом.

– Расскажи что-нибудь, Ринья, - просит бабушка.

И Ирина подробно пересказывает все рассказы и сказки, которые я ей читал в последние дни. Потом приносит бабин альбом и подолгу разглядывает фотографии.

– Баба, а как эту девочку зовут? Я все забываю.

– Фрида, - отвечает бабушка, взглядывая поверх очков.

– Фридка, значит, - решает Ирина.

– Не Фридка, - поправляет бабушка, - а Фрида.

– Хм-м... Фрида-Фридка. Какая разница? Буквы-то одинаковые. Вот сама слушай: фри-фри. Одна буква.

Бабушка молчит, соображает.

– Почему одна буква? Фрида - слышится «д». Фридка - слышится «к».

– Ну да! - усмехается внучка - «Де», «ка»... Слушай. Фри-да, Фри-дка. Одна буква - Фри.

Бабушка опять думает. Нет вроде бы такой буквы - фри. Впрочем, если внучка настаивает... Кто знает, нынче ведь все такие умные...

Молчат. Каждая остается при своем мнении.

Я пишу в своей комнате. Краешком уха при-

слушиваюсь к разговору на кухне. И вновь посещает меня тревога. Вот закончу работу и опять уеду из дому, из аула. И кто знает, когда еще приеду. И уеду не один. Я должен забрать Ирину. Таков строгий наказ ее мамы. Я еще не говорил об этом ни Рине, ни бабушке. Никак не решусь. Даже не представляю, как я это им скажу. Опустеет дом без этого милого человечка. Одиноко, скучно будет бабушке и дедушке.

– Спокойной ночи! - говорит всем Ирина и уходит в спальню. Бабушка укрывает ее одеялом, говорит- приборматывает что-то ласковое, нежное. Внучка быстро засыпает.

Бабушка ставит прялку на место, за шкафом, проверяет печки: прогорел ли уголь. Потом отрывает листок календаря, вздыхает. Еще один день прожит. И опять не было писем. Разлетелись дочки кто куда. И редко шлют приветы. Горе с этими детьми: носит их по свету.

А дедушка все пишет, чертит, заполняет какие-то бланки. Голова его клонится все ниже, ниже. Глаза смыкаются. Рука выводит лишь первые буквы слов, а дальше тянутся затейливые хвосты, непонятные каракули. Тогда он резко встает. Хватает дремлющую в углу Мурку, выносит ее в сарай, плотно закрывает двери и тоже идет спать.

Перед сном иду на улицу. Небо словно стекленело. Тускло мерцают редкие звезды. Круто изогнулись рога месяца. Кажется, к морозу. Снег взжикивает под ногами.

Дважды моргает лампочка в окне. Значит, через минуту-другую умолкнет и совхозный движок, и все погрузится во мрак.

Уже в темноте я стелю постель. Сон не идет. Который денья думаю о том, что завтра непременно напишу Иришкиной маме. Может, удастся мне убедить ее, что слишком хрупкая вещь - счастье. Особенно если оно касается не одного тебя. Ну, что ей стоит оставить дочь хотя бы до лета, или до весны в ауле, в большом уютном дедовском доме. А там, может, еще все уладится, образуется...

Декабрь, 1964

МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ

Майн Готт, как давно это было! О том времени и вспоминать-то уже некому...

Мне только недавно исполнилось шесть лет, и я почему-то живу не с родителями, а в большой семье дяди Вильгельма - папиного брата. В этом селе, Мангейме, у папы живут четверо братьев и две сестры, и мамины четыре сестры и двое братьев. И еще две моих бабушки-гроссмуттер Элизабет и Олинда. А двоюродных братьев и сестер столько, что я не в силах их ни сосчитать, ни запомнить. И все меня лобят, наверное, потому, что я городской мальчишка, ухоженный чистенький, не по-деревенски одетый, то и дело сбивающийся невольно на потешную для моих сверстников русскую речь, вызываю какое-то любопытство.

Но мне это невдомек. Мне уютно в доме дяди Вильгельма (в селе произносят Виллем), и мои значительно старшие двоюродные братья -Виллем (у немцев на Волге было принято

старшего сына называть именем отца), Иоганнес, Фриц – меня всячески опекают.

Вильгельм в то время уже женихался, брал меня на вечерние посиделки. Со своей зазнобой они устраивались на завалинке, лузгали поджаренные тыквенные семечки, миловались, несли какой-то вздор, а я терпеливо ждал, когда кончится их свидание, и Вильгельм - степенный, видный из себя парняга при галстуке (!) – посадив меня, полусонного, на плечи деловито отправится уже при густых сумерках домой.

Иоганнес, или просто Ганс, тащил меня на колхозную конюшню, на кузню, на мельницу, где все было мне в новинку.

А непоседа, озорник Фриц, рыжий и конопатый, учил меня разным деревенским дразнилкам, частушкам - шнёркелям, среди которых, как я смутно догадывался, попадались и явно непотребные.

В доме моего дяди - кряжистого, усатого, курившего короткую трубку - пфайфу - вкусно пахло семечками, капустой, самосадом и разной стряпней.

Приближался Новый - 1941-й год. В селе царило радостное оживление. Вечерами со стороны клуба доносились слаженные звуки духового оркестра. В каждом доме стряптапи «кухи» (стряпухи), выпекали крендели, витие-

ватых форм «креббели». Забивали гусей, уток. Сытный колбасный дух, с перцем и чесноком, витал над селом.

- На днях приедут Анье и Карлуш, - сказала однажды за завтраком тетушка Амалия, Малье-танте, обращаясь к сыновьям. - Научили бы мальца какому-нибудь новогоднему стишку.

Я смекнул, что речь идет обо мне, а Анье и Карлуш – мои родители.

В тот же день мне вдолбили коротенький стишок, который я должен был прочесть в Новый год вначале в доме бабушки Элизабет, потом у дяди Фридриха, потом у бабушки Олинды, у тетушки Гульды, Альмы, Маргариты и Бог знает у кого еще.

Стишок я вызубрил легко, и меня распирало от гордости, когда многочисленная деревенская родня дружно выражала восторг.

И вот в Новый год, едва позавтракав, Ганс и Фриц повели меня к бабушке. Я был в валенках, шубке, повязан шарфом; снег поскрипывал под ногами, изо рта валил пар. По дороге мои наставники потребовали раз десять повторить стишок, чтобы я его отбарабанил потом без сучка-задоринки.

В просторном доме бабушки все уже были на ногах, в сумеречной «майштубе» - гостиной толпились люди. Кто-то уже сипло пел.

Дядя Фриц выписывал непослушными ногами замысловатые кренделя, выкрикивал: Хоп-са-са! Юхей, юхай, доннерветтер!» Длинный стол в углу был накрыт яствами. Сама бабушка, сухопарая, расторопная, длинноносая, с изборожденным аскетическим лицом, в длинной до пят черной юбке и неизменном белом переднике, юрко металась между домом и летним «бакхаузом».

Тут я увидел и своих родителей. Отец был в гимнастерке, галифе, хромовых офицерских сапогах с диковинными значками на груди, выделялся среди всех ростом и выправкой. Мама, черноглазая, легкая, по городской моде коротко остриженная, увидев меня, заулыбалась, и мне хотелось кинуться к ней, прижаться, только сейчас я почувствовал, как соскучился по отцу-матери. Но братья-наставники мои, Ганс и Фриц, держали меня с двух сторон, заявив честной компании, что Гергольд (почему-то так произносили в селе мое непривычное, как бы чужеродное имя) желает прочесть стишок. Все вокруг восторженно всколыхнулись:

– Ах, ду, либер цайт!
– Гук моль доу! Смотрите-ка!
– Где он только научился?!
– Неужели ауф дайтш?!
– Ай-яй!.. Тафай, валяй!

грудь, как учил меня Фриц и, ничуть не запинаясь, на пределе голосовых связок выпалил-выдохнул коротенький стишок.

Все пришли в неописуемый восторг. Отец схватил меня и расцеловал, подбросил к потолку; мама, присев на корточки, крепко обняла меня, дядья и тетки радостно заколготали все разом, а бабушка Лизбет, все с тем же суровым видом, поднесла мне в крохотной стопочке парного молочка. В этом заключалось высшее признание: к своим многочисленным внукам бабушка не особенно благоволила, а баловства и вовсе не терпела.

Этот счастливый миг моего далекого детства запомнился навсегда.

А вскоре вся наша жизнь пошла кувырком.

Мы переехали из Энгельса в кантонный центр Гнаденфлюр. Бабушка умерла. Потом обрушилась война. Автономную Республику немцев Поволжья ликвидировали. Нас выселили кого куда – в Казахстан, в Сибирь. Все мои дядья и многие двоюродные братья и сестры погибли в трудармии. Уцелевшие оказались развеянными по всей стране. Многих так и не довелось больше увидеть. Ну, а от родного, милого села Мангейма и следа на земле не осталось.

Вспоминая тот Новый - 1941-й-год, я десятилетиями мучительно и тщетно силился восстановить в памяти короткий стишок, ко-

торый ввергнул тогда мою родню в восторг и умиление.

В глубине сознания застряли лишь два слова – kleiner Konig, т.е. маленький король.

С мамой при ее жизни я не однажды заводил разговор о том случае. Она хорошо всё помнила, перебирала в памяти разные новогодние пожелания-шпрюхе, имевшие хождение среди немцев-колонистов, но в них о маленьком короле не говорилось. И отец не помнил. Совместными усилиями мы вспоминали печальную балладу о королевских детях, которых насильно разлучили, и гётевские «Es war einmal ein Konig» и «Der Konig von Thule», но нет... все не то, не то...

Слишком давно все это было. И ныне свидетелями того новогоднего утра в бабушкином доме остались только двое – отец и я. И стишок тот канул в небытие.

Пятьдесят шесть лет спустя, очутившись с инфарктом в больнице в реанимации, я ночами с какой-то воспаленной остротой оживил в памяти разные далекие эпизоды моей жизни, и вдруг совершенно неожиданно, молниеносно, как ожог, вспыхнула первая строка«Ich bin a Kleiner Konig...» Потрясенный, взволнованный, я вновь и вновь, чтобы только не забыть, не упустить, повторял и повторял эту строчку, пока не набрел и на вторую – «gebt mir net zu

wenig». Дальше опять все застопорилось, и я, изможденный, уснул.

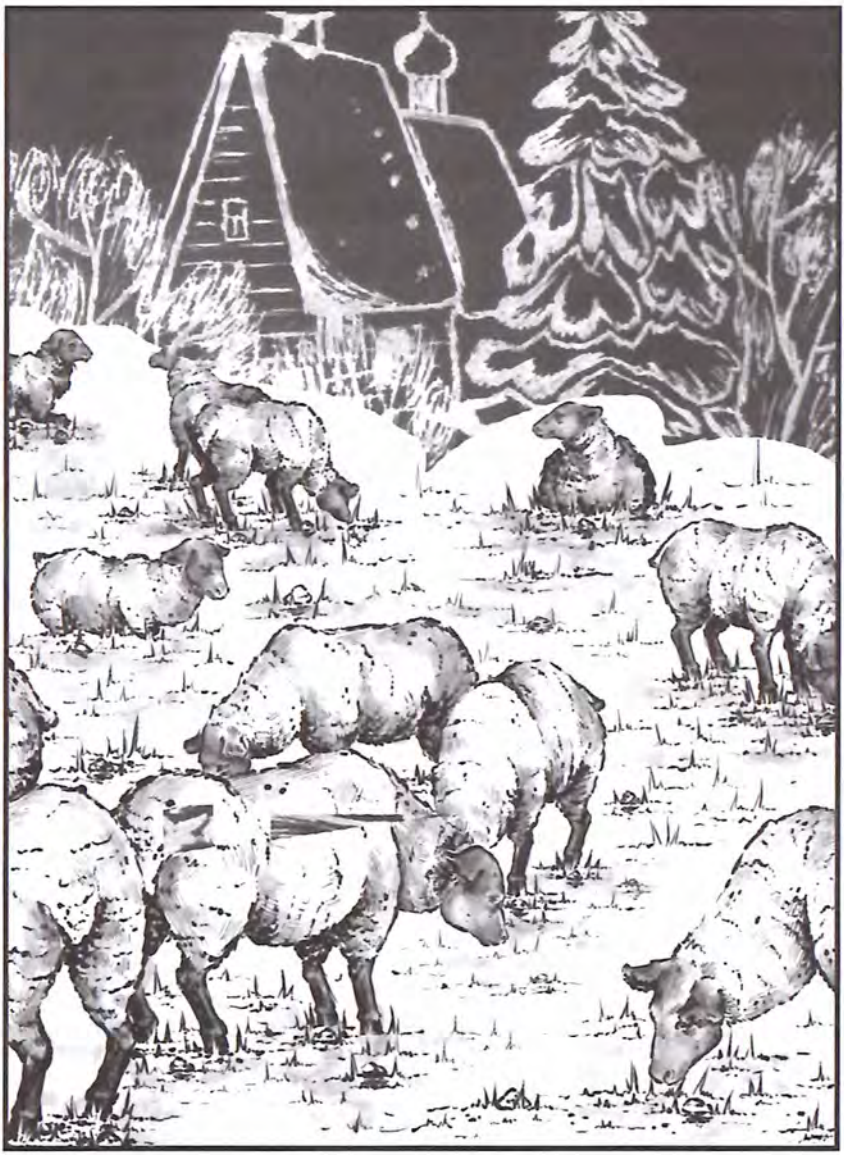
А наутро, едва раскрыв глаза - вот причудливое свойство человеческой памяти! - я без всякого усилия вспомнил и последние две строчки:

Lasst mich net zu lange stehn,
Ich muss noch a Hausche weiter gehn.

Господи, всего-то... Бесхитростный наивный стишок, родившийся в глубине веков где-то в Баварии, Швабии, Саксонии и завезенный в Руссланд, на Волгу...

Я почувствовал огромное облегчение, радость и одновременно опустошающую грусть, что поделиться тем ярким отблеском далекого зарева, крохотным осколком невозвратного прошлого, в сущности, уже не с кем.

Бедный, бедный «kleiner Konig»...



МАРИНА, ПУПСИК И Я

Дочери Иринушке

Еще вечером зашел сосед, дедушка Ергали, и предупредил, что завтра наш черед пасти овец. Таков был порядок в ауле: овец пасли по очереди.

На семейном совете Маришкин деда сказал, что с утра пораньше, до работы, пасти овец может он, а потом передает отару отпускникам. Мы с Мариной переглянулись, потому что мы и были этими самыми отпускниками.

Утром, когда Маришкин деда вернулся с выпаса, мы облачились в спортивное трико, нахлобучили наши шляпы-сомбреро, надели черные очки и, размахивая хворостинками, отправились к овцам. Я нес большую хозяйственную сумку, набитую разной снедью, а Марина – веселой расцветки зонт с белой костяной ручкой. Впереди нас деловито потрухивал Пупсик.

Отара - овцы и козы вперемешку - паслась на склоне оврага за колодцем. Трава росла здесь густая и сочная. Овцы пощипывали ее с удовольствием.

Первым заметил нас большой долгомордый козел с темными полосками на щеках. Он дерзко задрал свою морду с острой жидковатой бороденкой и с любопытством уставился на нас выпуклыми зелеными глазами.

- Ишь, чумазый какой! – заметила Марина. – Наверное, и не умывался сегодня.

Пупсик, виляя хвостиком, подбежал к козлу, попытался было лизнуть его бородку, но Чумазый только тряхнул головой и продолжал на нас смотреть. «Тебя-то я знаю, - казалось, говорил он Пупсику, - а эти вот кто такие?»

Потешно взбрыкивая, подскочили к Чумачому козлята, застыли, как вкопанные, - на мгновение, вылупили озорные глазенки. Насторожились и их матери. А вскоре и уже вся отара бесцеремонно, в упор разглядывала нас.

- Что это они, папа? - спросила Марина, невольно прижимаясь ко мне.

- Знакомятся с нами. Должно быть, таких пастухов, как мы с тобой им видеть не приходилось.

Мы сняли черные очки, потом сомбреро, и только тогда овцы снова принялись щипать траву. Подобрел и взгляд Чумазого. Косясь

одним глазом на хворостину в моей руке, он даже хотел было подойти к нам, но вдруг передумал и отвернулся.

Мы устраиваемся на бугорке: отсюда лучше видна отара.

Некоторое время мы молча любуемся окрестностью. Как здесь тихо и уютно! Я очень люблю эти места: и наш маленький аул, и густой тугай вдоль берегов Ишима, и эти скромные березовые колки вокруг аула, и этот духмяный настой разнотранья, от которого так легко и просторно становится в груди. Все здесь мне любо: здесь я рос, водил мальчишечью ватагу, здесь впервые узнал, что в жизни есть и радость, и горе. В последние годы я приезжаю сюда каждое лето вместе с Мариной, и мне очень хочется, чтобы и она полюбила этот край. Я знаю: тот, кто с детства познал тихую мудрость лесов и беспредельную щедрость степей, и потом, когда вырастет, будет любить природу. Наверное, только тогда радостно жить на свете, когда у тебя есть родной аул, родная степь, укромный уголочек где-нибудь под тихим тальником на берегу речки.

Марина долго смотрит по сторонам, потом достает из сумки тетрадь и карандаш и начинает рисовать. На листе появляется продолговатый черный овал, над ним - две закорючки, снизу - нечто похожее на мочалку. От середи-

ны овала тянется длинная жирная линия, к ней прикрепляются снизу четыре палочки: две – спереди, две - сзади. «Что это может быть?» - думаю я, искоса наблюдая за Маришкиным творчеством. Но тут в середине овала появляются два красных кругляша, и я сразу же узнаю в этом чудовище нашего чумазого козла. Марина улыбается, хихикает довольно, показывая рисунок.

– Похож?

– Похож. Но почему глаза красные?

– А какие же?

– Ну, сероватые, зеленоватые, что ли...

– Нет, нет. Не спорь, пожалуйста. Красные у него глаза, - категорически заявляет Марина.

Я оглядываюсь, ищу козла, чтобы убедиться, какие же у него в самом деле глаза, но Чумазый отошел в сторонку, взобрался на добела начищенный ветрами и солнцем валун и зорко стережет отару. Сколько в нем важности и козлиной спеси!

Теперь Марина рисует зеленую травку, а на ней - множество черных букашек. Их много-много, может быть, даже больше, чем овец в нашей отаре. Пупсик внимательно смотрит в тетрадь, следит за движением карандаша в руке Марины, но тайны живописи ему недоступны. Он начинает забавляться собственным хвостом. Откуда-то налетает оса, угрожающе

гудит-зудит, кружится над Пупсиком. Щенок отчаянно вертит мордой, старается изловить незваную гостью, но куда там! Оса мгновенно исчезает, и Пупсик, задрав морду, смотрит ей вслед, начинает от досады лапой чесать ухо. Но оса вдруг опять выпархивает откуда-то сбоку, жужжит дразняще, вьется у самых пупсиных глаз, и Пупсик уже волчком скулит от злости.

Близится полдень. Неистово палит солнце. Овцы пасутся все на том же месте, и только неугомонные козы то и дело норовят податься в сторону тенистого тугая.

– Чэк! Чэк! Эй! - резко кричу я и козы послушно возвращаются в отару.

Жарко. Пупсик развалился рядом со мной, высунул длинный розовый язык, с кончика которого капает слюна, тяжело водит боками. Оса наконец оставила его в покое. Все вокруг постепенно голубеет, а небо становится все выше и все бледнее. Там, где ослепительно светит солнце, небо раскалено до белизны. Все погружается в голубоватую дымку. Смываются очертания предметов вокруг, странно-причудливо меняется все, то отдаляясь, то приближаясь, дрожит горизонт, окутанный знойным маревом. Кажется, аул остался где-то далеко позади, и уже не слышно никаких звуков, кроме одной утомительно-однообразной звонкой песни, льющейся откуда-то с вышины.

Тихо-тихо. Словно все замолкло, сомлело под жгучим солнцем, даже в ушах звенит от такой тишины. Одни муравьи шебуршат в траве, суетятся, спешат по своим нескончаемым делам. Марина уже не рисует. Тетрадь и карандаши отложила в сторону и лежит теперь на животе под зонтом, подперев кулачками подбородок, смотрит задумчиво вдаль, туда, где в открытой ковыльной степи за оврагом плывут причудливые тени. Маринке чудится, что там, далеко-далеко, на волнах безбрежного моря плывут какие-то странные существа - не то верблюды, не то слоны. Они то исчезают, погружаясь в воду, то выныривают, появляются вновь, они плывут сюда, к отаре, плывут-скользят стремительно, но никак не могут доплыть. А там, за ними, бесконечно, до самого неба тянутся голубоватые горы.

– Что это, папа? - словно откуда-то издали доносится голос Марины.

– Где?

– Вон там... шевелится.

– Это Мираж.

– А что такое мираж?

– Мираж – это... это марево. Ну, как бы тебе сказать, призрак. Это только кажется, а на самом деле ничего нет. Понимаешь? Такое бывает в жаркий солнечный день.

Я думаю о том, как бы попроще и понятней объяснить Марине, что такое мираж. Она тоже больше ни о чем не спрашивает. То ли

поняла, то ли решила, что я все равно не смогу объяснить толком.

К нам уже несколько раз вплотную подходил Чумазый, подолгу в упор смотрел на нас, а потом, мотая от досады головой, снова удалялся. Видно, хотелось Чумазому что-то сказать нам, а мы никак не могли его понять.

Я снова погружаюсь в чтение, а Марина все любуется затейливой игрой степного марева.

– Папа, а волки не придут?

– Нет, - отвечаю я рассеянно.

– А если придут?

– Не придут.

– А если все-таки придут? - не унимается Марина, и глаза ее расширяются от страха.

– Ну, если придут, наш Пупсик с любым волком справится. Пупсик в ответ одобрительно машет хвостом.

– Пупсик? Один?! - недоверчиво спрашивает Марина.

– Почему один? Надо будет - Чумазый поможет.

Марина сразу же успокаивается. Что волк страшный и злой она знает из сказок. А увидела впервые волка на сцене детского театра. Волк развязной походкой ходил по сцене, курил громадную трубку и, срывая с головы ярко-красный берет, почему-то хрипел: «Чао-чао, бамбино!» Хоть и страшен был тот волк, но Марина

знала, что это и не волк вовсе, а папин друг дядя Вена. Настоящего, живого волка Марина увидела прошлым летом в зоопарке. Шелудивый, худющий и совсем-совсем не страшный, он метался, поджав тощий хвост из угла в угол клетки и лишь изредка невидяще поглядывая на толпу маленькими слезящимися глазами. Он был такой одинокий и несчастный, что Маринка чуть не заплакала тогда от жалости. Сейчас она живо представила его и решила, что с таким волком Пупсик, пожалуй, справится и без помощи Чумазого.

Между тем козам окончательно надоело пастись на одном месте. Они начинают разбредаться. Низко свесив головы, пошли за ними и овцы. Мои окрики перестали действовать на них.

- Видно, пора поить отару - говорю я Марине.

Пока мы складывали наши вещи, отара рассыпалась. Чумазый, гордо выставив свою бороденку, повел половину отары к оврагу. Несколько овец с ягнятами-сосунками подались в аул. Еще одна группа раскольников поспешила к кустам возле старицы. Мы с Мариной растерялись. Вот позор-то будет, если овцы в полдень притащатся в аул. А как быть, если эти проказницы гуляки забредут в кусты? Их оттуда никакими силами потом не выгонишь.

А что пришло в упрямую голову чумазого козла? Может, он решил падаться к роднику в овраг?

Первым опомнился Пупсик. Он мигом догнал Чумазого, стал перед ним и начал лаять. Чумазый остановился, грозно мотнул головой, даже двинулся на Пупсика. Но Пупсик оказался не робкого десятка. Он залился звонким сердитым лаем и решительно преградил Чумазому путь. Козел постоял в недоумении, подумал, как быть дальше и нехотя повернул назад.

– Ну и Пупсик! Ай да молодец! - воскликнула Марина.

Мы сразу же приободрились. Марина, размахивая хворостиной, побежала за теми овцами, которые решили на обед завернуть в аул. Я кинулся к кустам, но немного опоздал: несколько коз успели юркнуть в кусты. Пока я гнался за ними, исчезли в кустах и остальные. Ох, и началась тут суматоха! На помощь мне бросился Пупсик. Он метался в кустах, яростно лая, стараясь выгнать на открытую поляну разгулявшихся коз, но все тщетно. Наш добрый,и услужливый Пупсик больше мешал, чем помогал. Напуганные его лаем овцы шарахались из стороны в сторону, козы же разбежались.

Тут подоспела и Марина. Втроем мы быстро управились с овцами: пригнали их к Чумазому, и теперь они с вышины холма с любопытством наблюдали за нашей возней. С расшалившимися козами не было никакого сладу. Ветки кустов и колючки исцарапали, иссеки наши руки и лица,

мы спотыкались о кочки, проклиная непослушных коз, над нами роем кружились встревоженные осы, липкий пот заливал глаза. Пупсик прямо-таки осатанел от злости. Больше часу мы рыскали в зарослях, и когда уже выбились из сил, козы, наконец, сжалились над нами. Они вдруг сами выбрались из кустов, подошли к овцам, спокойно дожидавшимся их на бугре, и мы погнали всю отару к водопою. Пупсик победно вилял хвостом и улыбался нам во весь свой собачий рот, а нам с Мариной было не до улыбок. Мы понуро плелись позади, волоча обломанные хворостины.

Пологий берег старицы был весь истыкан овечьими и коровьими копытами. Толкаясь и мешая друг другу, ринулись овцы и пили долго, с наслаждением. Пупсик побежал к противоположному берегу, густо заросшему кугой и осокой, и бухнулся в воду.

Напившись, овцы цепочкой потянулись к камням недалеко от старицы и улеглись отдыхать. Чумазый забрался на самую верхушку громадного валуна и замер, словно изваяние.

– Наверное, у них тихий час, - сказала Марина.

Мы расположились под боярышником, одиноко росшим возле камней. Теперь можно и пообедать.

Чего только не наложила Маришкина бабушка в нашу сумку! Тут и хлеб, и зеленый лучок, и яички, и масло, и холодная баранина,

и пухлые, мягкие пончики. Мы раскладываем все это богатство на полотенце и принимаемся за трапезу. Едим неторопливо, со смаком и удивляемся, до чего же все это вкусно. Пупсик тоже получает свою порцию: кусочек мяса и ломтик хлеба. Ест сдержанно, с достоинством, как и полагается настоящему труженику. А потом мы пьем кумыс, холодный, пахучий, прямо из термоса.

– А когда коз доят, кумыс или молоко получается? - спрашивает Марина.

– Молоко, - улыбаюсь я.

– А кумыс, когда лошадок доят?

– Потом из этого молока делают кумыс.

Больше ни о чем Марина не спрашивает. После обеда и прохладного кумыса ее клонит ко сну. Она стелет на травку газету и укладывается спать в негустой тени боярышника.

– Я немножко вздремну. Как кончится тихий час у овечек, разбуди. Ладно?

– Ладно. Спи.

...Спит Марина. Дремлет Пупсик, отдыхает отара. Кажется, все вокруг погрузилось в послеобеденный сон. Даже солнце будто бы застыло на самой-самой вышине, сомлев от жары и духоты. На валуне неподвижно стоит Чумазый. Какой у него надменный, величественный вид!

Первыми просыпаются козлята. Они начинают резвиться, скакать, прыгать с камня на

камень. Со своего пьедестала спускается Чумазый. Тяжело поднимаются овцы. И опять принимаются щипать траву.

Приближается вечер. Солнце, измученное жарой, обессиленно повисло над Ишимом. Свежестью потянуло из оврага. Пора еще раз поить отару.

С водопоя возвращаемся не спеша. На этот раз все обошлось без приключений. Еще часок пасем отару на лужайке за колодцем. При вечерней прохладе овцы не в силах оторваться от нежной травы. Даже козлята-забияки и те как-то притихают. Чумазый все чаще смотрит в сторону аула, ждет, когда хозяева придут и разберут его подопечных.

А вот и малышня выкатывается нам навстречу: тут и пешие, и на велосипедах, и на стригунках. От всех домов спешат хозяйки, ковыляют старики. Надо успеть вовремя. А то разбредутся овцы, беги, ищи потом по всему аулу. Криком, гвалтом, свистом, блеянием оглашается аул.

Тугощекая молодка, на бегу поправляя сползающий платок, радостно кивает и улыбается Марине:

– Маладес, пастух-кизимка! Балшой расти.

И, спотыкаясь, спеша, загоняет овец во двор. За оградой, у двери дома, самодовольно дымит самовар. На его крутом боку играет багряный луч заходящегося солнца.

Ну вот, остались мы одни и идем по аулу домой. Впереди быстро-быстро перебира-

ют ножками Борька, Люца и Фу (это овечки Маришкиного деда), за ними потрухивает Пупсик, а за Пупсиком, усталые и довольные, идем мы с Мариной. Возле дома, как всегда в свободное время, возится у своего дряхлого и капризного мотоцикла Маришкин дед. Видно, он хотел нас встретить, но не смог завести свой драндулет.

– А, отпускники, - улыбается дед.

Маринка бросается к нему.

...Солнце скрылось за Ишимом. Над аулом нависли вечерние сумерки. Кружится немного голова, и гудят, покалывают ноги.

Через час, перед тем, как отправиться на сеновал, я заглядываю в спальню. Марина лежит на своей кроватке, поджав коленки и подложив ручку под щеку. Она уже спит и чему-то улыбается во сне. Наверное, ей снится степь. Вдали дрожит, колышется знойным маревом бескрайнее степное море. На волнах покачивается козел Чумазый и машет ей головой...

ЗЕМЛЯНИКА СТЕПНАЯ

В середине лета мальчику стало совсем худо. Синий кашель – «кок жотел» - бил его часами, выворачивал наизнанку, содрогал его щуплое, изнуренное тельце. Он ртом хватал воздух, шевеля лиловыми губами, точно чебачок, выброшенный на берег. В запавшей груди свистело, хлюпало, клокотало. Еще весной отец скорбно сказал: двухстороннее воспаление легких. А теперь решил: коклюш. Дружки-казашата называли эту хворь «коксау». Советовали: «Глотай топленое масло», «Смазывай грудь жиром ежа», «Жир сурочий тоже хорош».

Днем ослабевшего мальчика выносили на солнышко, усаживали на плотную, как ворс, травку, подстелив заскорузлую телячью шкурку, укутывали в шаль, на голову нахлобучивали изъеденную молью трухлявую шапку. Мальчик ловил на себе жалостливые взгляды родителей.

Отец, спеша в свой медпункт, обычно задерживался возле сына-подранка, терпеливо

ждал, пока тот тщетно пытался откашляться, молча клал перед ним крохотную плитку гематогена в блестящей облатке.

Мать ставила перед ним кружку парного молока и поспешно отворачивалась, скрывая слезы. Мальчик долго смотрел на молоко, но чувствовал, что поднять и поднести кружку к губам он не в силах. К тому же испытывал отвращение к любой еде. А если и отпивал через силу глоток теплого, еще пузырящегося после дойки молока, пахнущего степным разнотравьем, из носу тут же шла кровь.

Силы покидали мальчика с каждым днем.

А лето буйствовало. Солнце подолгу висело в зените. От земли, от густотравья шел дурманящий дух. По небу плыли, клубились белесые облака-барашки. Вдали, вдоль Есиля-реки, голубел тугай. Пустынный аул, казалось, погрузился в истому. Порхали-метались вокруг разноцветные бабочки, опускались на краешек синей кружки, трепеща прозрачными крылышками. Иногда, волоча хвост в репейниках, подползал соседский пес Майлыаяк, опускался на брюхо, вывалив язык, и подолгу глядел слезящимися, подслеповатыми глазами на мальчика. И в серых зыбких зрачках его тоже плескалась жалость.

—«Плохо тебе ?» - безмолвно вопрошал пес.

—«Сам ведь видишь, - смущался мальчик, - совсем ходить не могу».

«Ай, бишара, бишара...» - сочувственно смаргивал слезы Майлыаяк.

Пес был стар и мудр. И понимал лишь по-казахски.

–«Хлебушка у тебя нет? - робко спросил он.

–"А то так надоел мне айран-шалап».

«Жоқ... И крошки нет».

Пес смиренно опускал голову, жмурился. Ему было неловко за свой нелепый вопрос.

–«А что есть?»

–«Гематоген».

–«Ол не нәрсе?... Что это еще?» - полюбопытствовал пес и нетерпеливо облизнулся.

–«Кямпит».

–«Нет, - вздохнул пес.

– Старому псу кампит не по зубам. Сам ешь».

Майлыаяк зевнул и опустил большую, костлявую голову на передние лапы, покосился на кружку с молоком. Ноздри его затрепетали.

–«Нельзя, - сказал мальчик. - Болмайды. Опоганишь».

–«Понимаю», - согласился пес и втянул язык в пасть.

К обеду солнце начинало припекать. Над тугаем вдоль Есиля дрожала хмарь. Мальчик до рези в глазах всматривался в причудливую игру миража, сознание туманилось, все вокруг струилось в теплых потоках света. Чудилось маль-

чику, будто он взлетает на невидимых крыльях, невесомо скользит по густому, настоенному степным разнотравьем, вязкому воздуху, поднимается все выше, выше, вот он уже барахтается среди пушистых облаков и ему легко, легко, кашель отпустил, его блаженное тепло разливается по всей груди. Земля осталась далеко внизу и видится ему с вышины весь аул, голубая лента речки, живописно обрамленной тугаем, и одинокий колодец возле кладбища, и перелески возле стана, и стадо, пасущееся вдоль оврага Терен-сай, и дорога, ведущая в соседний аул Коктерек. А Майлыаяк, ставший вдруг маленьким и потешным, точно мышонок, задрал морду вверх, недоуменно моргает, бессловесно вопрошая:

–«Эй! Куда ты? Куда?!»

Жара и хворь сморили мальчика.

Очнулся он ночью. В двухрамное окошко у топчана заглядывала луна. За печкой-голландкой упоенно сипел сверчок. В глухой тишине послышался мальчику всхлип.

– Ist er aber armselig, - шептала мать.

Мальчик прислушался, сразу смекнув, что речь идет о нем.

– Ja, es ist schlimm, -глухо проронил отец.

– Ich habe Angst... Я боюсь...

– Что поделаешь?.. Бронштейн из Марьевки обещал достать рыбий жир. Может, это ему поможет. Иначе... иначе...

– Что, майн Готт?... Либер Хайланд! Неужели?!

– Будем надеяться... но, боюсь, не жилец он на этом свете...

– Was?.. Ist er den Tode verfallen?!

Мальчик затаил дыхание. Он знал: der Tode verfallen - смерть. В груди стало пусто. Будто жизнь вмиг вытекла из нее. Словно он выкашлял последние силы.

Луна нырнула в тучи. Нежилась там, покачивалась, резвилась. Сверчок за печкой умолк. Темень мгновенно сгустилась. И родители у стенки напротив перестали шептаться.

Сон уже не шел. Что? Не жилец? Он умрет? Он обречен? Что это? Почему? Вся надежда.... Последняя надежда на какой-то рыбий жир? На это тягучее, вонючие лекарство, от которого тошнит при одном его упоминании?

Не жилец.... Значит, не будит жить? Не будет дышать, видеть, слышать? И ничего не будет? Ни солнца, ни неба, ни дома, ни отца-матери? Как такое может быть? Куда все денется? Или все будет, только его не будет? Мудрено! Да, он знает, слышал, люди умирают. На войне вон сколько погибло. И в ауле дедушка Елемес умер. Но ведь от старости. И Шаймурат умер. Но ведь его легкие, сказывают, черви источипи. И Шолпанка умерла.

Так от сыпного тифа. А он, он, он-то почему должен умереть? Ему ведь только двенадцать!

На рассвете, проваливаясь в мучительную дремоту, мальчик решил: нет, нет, он не сдастся злой хвори, не смирится со своей слабостью, он назло всем, всем встанет и пойдет, пойдет... куда? куда? - ... да хоть до пруда за аулом, а может, в степь за логом или даже до Каменного брода... - да, да... - возьмет дрын и наперекор всему и всем доковыляет до околицы, на простор, где парят в вышине вольные ястребки, высматривая мышей и сусликов, где в синеве, за облачком, самозабвенно заливается жаворонок, где сигают в пучках серебристого ковыля беззаботные зеленые кузнечики. Там, он надеется, ему будет легко, боль в груди отступит, вернутся силы, и проклятый синий кашель перестанет его донимать, и не один он пойдет, не один, а с закадычными дружками, с Аскером, Кёккёзом, Темешем, Сяльтаем. Ну и с Майлыаяком. Пес, хоть и старый, полуслепой, весь в репейниках, облезлый, в беде его не оставит.

С утра было ясно: день занимается солнечный. За окном ровный ветер клонил-раскачивал ветлу. Отец давно отправился в медпункт. Мать возилась в сенцах, разливала только что надоенное молоко по крынкам, чтобы оно отстоялось, а потом можно было деревянной ложкой собирать густые, с золотистым отливом сливки.

На тумбочке, возле его топчана, дожидался завтрак: синяя кружка с парным молоком, круто сваренное куриное яйцо и темно-коричневый квадратик гематогена. Теплое, пахучее свежей травой и чуть-чуть отдающее полынью молоко он выпил почти все, медленно сжевал вязкий, липкий гематоген, а яйцо положил в кармашек курточки: угостит потом при случае своих тамыров.

Он осторожно выбрался из дому, шатаясь, добрел до угла хлева, где в наземе и золе копошились куры, ведомые нахальным красно-штанным петухом с дерзкими, черными глазами-пуговками, сделал свое маленькое дело и, жмурясь на солнце, унимая дрожь в коленках, постоял у калитки, озираясь по сторонам.

Безлюдно, выморочно было в ауле. У колодца за дорогой гремела цепью и бадьей непомерно распухшая бабка Балшекер, а возле соседской шошалы грелся на солцепеке, одним глазом посматривая вокруг, шелудивый Майлыаяк.

—«Ия... аманбысың? — безмолвно спросил пес и чуть-чуть пошевелил хвостом-мочалкой.

—«А ты?» - так же без слов поинтересовался мальчик.

—«Е-е, Құдайға шүкір... Слава всевышнему, - ответил по-стариковски пес.

— Что бог дал, то и хорошо".

Мальчик долго стоял у калитки, держась одной рукой за штакетник, другой растирая больную грудь. Он чувствовал, что слаб, руки словно плети, а голова на тонкой шее вся тяжелеет, точно разрастается надувным мячом, уши горят, во рту противная горечь, а по всему телу волнами пробегала знобкая дрожь.

—"Не жилец он на этом свете", - послышался ночной вздох отца.

—«Ich habe Angst...» - сдавленный всхлип мамы.

Ватага пацанвы на пустыре возле хибары охотника Абильмажина заметила его, помахала руками.

— Кар-ри!

— Кел мунда! Иди к нам!

— Ойнаик. Поиграем.

—«Дойду — не дойду», - засомневался мальчик, оторвавшись от штакетника. Голова закружилась сильнее и в носу защипало: неужто опять пойдет кровь? Не надо было пить молоко. Всегда так...

Аульные огольцы встретили его ликованием:

— Оу, выздоровел?

— Окреп?

— Маладес!

— Нам что-нибудь прихватил? Кампит-мампит есть? — загалдели вразнобой.

Мальчик достал из кармана крутое яйцо.

Все пришли в радостное оживление. Аскер мигом очистил яйцо, разломал на пять-шесть равных долек.

– Мог бы и больше принести, - пробурчал Кёккёз.

Сялтай, четвертый год просидевший в первом классе, по праву старшего спросил:

– Ну, и дальше что будешь делать?

– Пойдем к пруду, искупаемся,

– Охота в моче бултыхаться! Там одни коровы прохлаждаются.

– Сразу паршой покроешся. Коростой обрастешь.

– Тогда к Тас-откелю.

– Далеко. И течение сильное.

– Айда в балку, - решил рассудительный Аскер.

– Там, на склоне, земляника поспела. Наедимся от пуза.

– Ия, ия, - возбудились все.

– Жидек жеіміз.

"Дойду ли?" - мелькнуло в голове мальчика, и сердце его затрепетало от страха и радости.

Пошли. Кто вприпрыжку, кто трусцой, кто оседлав прутик вместо стригунка. Мальчик плелся позади, любуясь озорниками и боясь, что вот-вот рухнет в придорожную траву.

– Эй! Что с тобой!

– Шевелись, Кари!

– Ты что, как пьяный, аулнай?

– Уже близко!

– А вон и Майлыаяк спешит к тебе на подмогу.

Действительно, со стороны аула старческой трусцой, понуро свесив бальшую, сухую голову, приближался верный Майлыаяк. Вскоре пес догнал мальчика, бросил на него беглый взгляд, слегка подергал хвостом, но проявил деликатность, ни о чем не спросил.

Добрели до южного склона оврага Терен-сай. Ватага мгновенно рассыпалась вдоль склона, припала к траве, раздвинула шершавые, зубчатые листья, под которыми спряталась сочная, краснобокая земляника с розовыми, нежными усиками.

– Смотри, смотри! Море!

– А красная какая! Будто кровь на белых листочках.

– А сладкая - язык проглотишь,

– Эй, осторожней. Не топчи.

– Видишь, целые земляничные гряды.

Вскоре затихли, засопели, зачмокали, дорвавшись до спелой, ядреной, сплошняком усыпавшей крутой склон степной земляники.

Сладкий земляничный дух дурманил голову.

Мальчик опустился на край полянки, начал выбирать из-под листьев тугую, розовую землянику, пожалев, что не прихватил литровую кружку или помятый солдатский котелок. Вот был бы сюрприз для родителей. Земляника со сливками - такое лакомство! Пальчики оближешь!

Он почувствовал облегчение. Противная дрожь в теле утихла. И голова уже не так сильно кружилась. И хрип в груди улегся. Земля была сухая, теплая. Ветерок трепал серебристый ковыль в плоской степи за оврагом. Вдалеке, в зыбучем мареве, смутно темнел аул. Какой же он был маленький, невзрачный, убогий, точно отставший от отары сирота-ягненок.

В носу щекотало от удушливого запаха нагревшихся на солнце пожухлых листьев. Во рту стало вязко.

Майлыаяк устроился рядом, уткнулся мордой в траву, то и дело чихал, фыркал, досадуя на неуемную возню муравьев, жучков, паучков в земляничной гряде. Одним глазом он следил за мальчиком, приличия ради раза два слизнул горсть розовых ягод, но вкуса не различил и по обыкновению вывалил язык, тяжело водя тощими боками.

Солнце вскарабкалось к зениту и припекало все заметней. Пацаны наелись земляники всласть.

– Эй, хватит!

– Все не съешь.

– Пузо лопнет.

– Завтра ведь тоже будет день.

– Айда домой!

Ватага мгновенно собралась в круг и направилась к большаку. Надо было пройти длинный

лог, выбраться на склон, обогнуть болотистый томар, а там до аула рукой подать. Ну, километра два. Или чуть больше.

—«Не дойду...», - понял мальчик, едва встав на ноги. Слабость вновь ударила в коленки. И в животе было нехорошо. Мутило. Кровь тяжело била в уши.

Он весь подобрался, точно ощетинился, сжал кулаки, стиснул зубы, переждал боль в груди и пошел на неверных, непослушных ногах, словно на ходулях. Майлыаяк, волоча хвост, побрел рядом.

Ватага вырвалась вперед, о чем-то шумно, вразнобой заспорила, но мальчик их не слышал, слова долетали будто из-за плотной завесы. Мысли его были заняты одним: лишь бы не упасть, не осрамиться перед тамырами, не стать посмешищем, не прослыть слабаком, доходягой, как-нибудь доковылять до аула, до дома, до топчана, рухнуть на соломенный матрац, да так, чтобы не видели родители, чтобы не расстроились, и отлежаться, забыться... Ни о чем больше он сейчас не думал.

Не мог думать.

Из оврага он благополучно выбрался. И до томара на повороте оставалось совсем немного. Там можно присесть на кочку, прилечь на осоке, передохнуть, унять дыхание, собраться с силами. Да, да лишь бы дотянуть до боло-

та. Оттуда и до аула на худой конец можно докричаться. А, может, на счастье проедет на своей раздрызганной арбе аульный поштабай и позволит пристроиться на задке.

На взгорке страх пронзил его: «Нет, не дойду... Упаду и больше не встану».

Ног он не чувствовал. Грудь окаменела. Сердце подкатывалось к горлу. Пальцы похолодели. Мелкая дрожь колотила все тело. На лбу выступила холодная испарина.

—«Не жилец на белом свете... »

—«Либер Хайланд... Либер Хайланд» - доносилось привычное причитание мамы.

Больше ничего на ум не приходило. Аскер, друг закадычный, как-то сказал:

—«Когда человек умирает, душа его подкатывается к кончику носа»,

—«Душа — это что?» - спросил он тогда у Аскера.

Аскер погладил бритую голову, поковырял в носу.

—«Душа - это божье дыхание. Дыхание обрывается — душа отлетает».

—«Как отлетает?»

—«Ну, растворяется в воздухе».

—«А как это заметишь?»

—«Говорят, кончик носа холодеет. Как у собаки, - объяснил всезнайка Аскер. - Нос похолодел, ты околел. Душа отлетела - ты умер».

–«И все?»

–«И все», - уверенно подытожил Аскер.

Мальчик хотел пощупать свой нос, но не было сил поднять руку.

Ему почудилось, что он не идет, а как будто скользит в вязких струях воздуха. Все вокруг колыхалось. И звуки все исчезли. Словно окутали его в тяжеленный тулуп, под которым мальчик задыхался.

На краю болота, на повороте к проселочной дороге, он споткнулся и упал. Майлыаяк вздохнул и улегся рядом.

– Эй, эй! — послышалось впереди.

– Не болды?

– Вставай! Тұр!

– Видишь, уже пришли.

– Вон твой дом!

Тамыры мигом обступили его. Все всполошились.

– Встань, Кари!

Мальчик виновато прошептал:

– Әлім жоқ... сил нет...

Его подхватили под мышки с двух сторон, но ноги подкашивались, а голова клонилась набок, точно шляпа подсолнуха. Сознание мутилось. Он плохо соображал, что хотели от него тамыры.

– Ладно,- решил, наконец, Темеш.

– Полежи. А мы мигом сбегаем за твоим коке.

– Не бойся. Тут рядом, - подтвердили остальные.

Страшная догадка пронзила его. Вот и все. Вот и все. Сейчас душа покинет его. Он отчетливо видел себя, бездыханно скрючившегося на обочине дороги. Он дотянулся рукой до кончика носа. Холодными были пальцы, а нос - теплый. "Значит, душа еще в теле, не подкатилась к кончику носа", - обрадованно подумал он.

Майлыаяк по-прежнему лежал рядом.

Мальчик не помнил, сколько пролежал на краю болота. Услышал вдруг голос отца:

– Harri, Harri... was ist los?!

И тут же почувствовал, как очутился в родных, надежных объятиях.

Такого живописного шествия никто в ауле не видел. По открытой на все стороны проселочной дороге шагисто шел, развевая подолом белого халата, рослый местный фельдшер и нес на руках обмякшего, вконец обессилевшего мальца. За ним, еле поспевая, возбужденно семенила ватага аульных голоногих сорванцов, одетых в лохмотья, кто во что горазд. А замыкал шествие старый, мудрый пес Майлыаяк.

Отец подавленно молчал, хлопал белесыми ресницами, судорожно вел кадыком на жилистой тощей шее.

– Ну, зачем ты пошел, не спросясь? - без укора поинтересовался он у сына.

Мальчик всхлипнул, дрожащим голосом пролепетал:

– Ты... ты... сказал... не жилец я, сказал...

– Что-о?! Когда?

Отец заморгал сильнее, губы его задрожали.

– Ночью... Я слышал... я слышал...

– Ах, глупыш мой... - проронил отец и сильнее прижал к груди сына.

– Глупыш... Ты ведь у меня единственный...

У калитки застыла ни живая ни мертвая мать. Потом побежала навстречу, бормоча:

– Ach, Herrje! Ах, либер Хайланд!

– Ничего, ничего, - успокоил ее отец - Alles ist vorbei.

Мальчика уложили на топчан, укрыли. Отец дал понюхать нашатырь. От жалости к себе и к растерянным родителям ему хотелось заплакать. Но и слез не было.

– Я... не умру? - прошептал.

– Что-о?... О чем ты говоришь, милый?!

– Никогда так ласково отец не говорил.

– Будешь... будешь жить назло всем чертям!

Мать прослезилась.

– Есть хочешь?

– Нет... нет. Спать... спать...

Наутро он очнулся от радостного возгласа отца:

– Смотри, смотри, Гарри!

В низком оконце возле топчана показалась морда Майлыаяка. Пес, упершись передними

лапами о раму, немигающее смотрел на своего друга старческими, преданными глазами. На обмякших его ушах, точно серьги, висели две репейные колючки.

–«Ну, как?» - спросил Майлыаяк. - Живой? Оклемался?

–«А ты?»

–«Е-е, что со мной сделается? Шүкір, айналайн».

Мальчик улыбнулся. И дотронулся рукой до кончика своего носа. Ему почудилось, что все плохое миновало, что он преодолел затянувшуюся хворь, все напасти, себя самого.И видно ему предопределено жить, коли душа еще не подкатилась к носу...

... Стояло лето второго послевоенного года. А я помню тот день во всех подробностях и поныне. И кажется, именно тот случай, тот поход на земляничную поляну странным образом определил мою судьбу.

28-30 мая 2005 г.

БЫЛА ВЕСНА...

– На экскурсию! На экскурсию! - радостно загалдели мои третьеклассники и захлопали крышками парт.

На дворе стояла долгожданная весна, и с приходом ее мои малыши стали неузнаваемо рассеянными. На переменах все высыпали на улицу, затевали какиое-то игры на солнцепеке, резвились, словно телята на лугу, или просто устраивались на завалинке, жались к стенке школы, где было тепло, солнечно и тихо. Звонки на урок им явно не нравились, и, потягиваясь, неохотно шли они в по-весенному прохладный, сыроватый, надоевший за долгую зиму класс. На уроках слушали меня вполуха, сонно смотрели в окно, с завистью наблюдали за каждым воробышком, беззаботно порхавшим по веткам. И даже отличник Дулат, сидевший за первой партой, мужественно смотрел на доску, а взгляд его был отрешенным и далеким-далеким. И отвечать уроки стали

врастяжку, уныло, невпопад. Весна настойчиво, властно звала их на улицу, в степь, к шумным детским играм. И сегодня после второго урока я, как всегда, собрал тетради по арифметике и письму и как бы между прочим сказал:

– А теперь, ребята, собирайтесь на экскурсию.

Они будто опешили, недоверчиво взглянули на меня, а потом вдруг хором завопили:

– Ур-ра-а! На экскурсию!

– Только тише. Сумки оставьте в партах и выходите на спортплощадку. Я сейчас.

В учительской я аккуратно водворил классный журнал на место в настенный шкафчик, разделенный по классам на множество отделений, и предупредил Еслям, что иду со своим классом на экскурсию. Еслям, то есть Еслям Акбарович, завуч школы, оторвался на мгновение от своих вечно срочных бумаг, подозрительно уставился на меня и строго спросил:

– А экскурсия у вас по плану?

Я знал, что он это скажет, и улыбнулся.

Странный человек этот Еслям. Мы с ним одногодки, в школе вместе учились, в одном классе, в детстве вместе собак по аулу гоняли, но с тех пор, как он стал завучем, Еслям со мной на «вы». Вообще-то вне школы он такой же, как всегда, старый друг, приятель-однокашник, а вот в учительской становится непри-

ступно далеким, разговаривает со мной только строго-вежливо, а планы от меня требует чаще, чем у других. Я никак не могу привыкнуть к этому холодному, чужому «вы» и мне даже как-то неловко за моего Есляма.

– Не беспокойся. Все по плану, Еслям... Акбарович.

Он долго смотрит на меня и почему-то вздыхает. Наверное, ему просто завидно. Я иду на экскурсию, на вольный степной воздух, а ему сидеть в прокуренной учительской за осточертевшими планами.

Между тем ребята вольным строем бредут уже в сторону котлована за аулом, к лесу. Сами, без меня, выбрали курс. Ну что ж, я не возражаю.

По дороге я забегаю домой, быстро переодеваюсь, сую в рюкзак две буханки хлеба, соль в спичечном коробке и несколько луковиц.

Я знаю, с каким аппетитом съедят мои малыши хлеб с солью там, на поле, на солнечной поляне, на бодрящем весеннем воздухе.

Ребята ушли уже далеко и мне приходится прибавить шагу, чтобы нагнать их. Я люблю с детьми бродить по окрестностям аула, да и они любят эти походы, хотя все эти места, кажется мне, исходили они не раз.

Солнце висело высоко над лесом и щедро одаривало землю весенней негой. В воздухе стояла дремь. По небу рассеянно плыли белые легкие тучки. Но от земли и со стороны овра-

га тянуло сыростью и утробным холодком. На пашне то здесь, то там небольшими островками еще лежал почерневший снег, а из-под него, по обочине дороги, торчали былки прошлогодней травы. Межа была залита мутной водицей.

Я прислушиваюсь к гвалту ребят, смотрю под ноги и вдруг чувствую, как больно сжимает сердце, как что-то стронулось там, глубоко в душе, и жестким комком подкатило к горлу. Ко мне вдруг приходит мое детство, такое далекое-далекое и совсем близкое, недавнее, босоногое и голодное. И тогда ведь все так же было: и эти перелески, эти березовые колки, ожившие под весенним солнышком после долгой зимней спячки, и эти лужицы на дороге, и эта черно-грязная пашня, по которой и тогда, как сейчас, деловито расхаживали ворчуньи-вороны, сороки-балаболки и надменные, самодовольные скворцы. Горячая волна обожгла грудь, когда я вдруг увидел на обочине дороги несколько блеклых, мокрых, втоптанных в грязь колосьев. Я невольно нагнулся, быстро собрал в пучок только-только оттаявшие колоски с ломкими стебельками, помял их в ладони, потом слегка подул, чтоб улетела мякина, и долго смотрел на сморщенные от холода, бледные зерна...

– Что вы нашли, агай? - подбежал ко мне Дулат.

Я молча показал горсть зернышек на ладони и улыбнулся ему. Он посмотрел на зерна,

потом на меня, недоуменно повел плечом и побежал дальше. Я нашел еще несколько колосков, отмыл с них грязь в луже, вместе с подснежниками вставил их в карман куртки и поспешил за ребятами. А рядом со мною неотступно, хлюпая грязью, бежало раскисшей тропинкой мое детство...

В те годы в аулах весну ждали с особым нетерпением. Казалось, что не будет конца-краю мертвой, лютой, голодной зиме, но на радость детям, весна - долгожданная желанная - все же приходила неожиданно, как-то сразу. И все ярче светило солнце, все звонче гремела полая вода в овраге за аулом. Весенний ветер мгновенно слизывал с косогора снег, и наш мальчишачий пустырь быстро высыхал, подогреваемый солнцем, наполнялся радостным гамом и гвалтом. Робко зеленела на нем трава, и то здесь, то там стыдливо высунули свои головки подснежники. И, заката штанины, до самозабвения гоняли мы на пустыре мячи, скатанные из овечьей шерсти, твердые, тяжелые, как камень. Но после бесконечной буранной зимы, после унылых высиживаний у печки в холодном доме мы быстро уставали на хмельном весеннем воздухе, кружилась голова и пусто урчало в животе. Но пусто было и дома. Сундуки и ларь в передней - память предвоенного изобилия - давно уже были тщательно обшарены.

Не осталось ни курта, ни иримчика. А хлеба давно уже не видели. Изо дня в день неделями, месяцами хлебали один айран, синий, кислый, водянистый, и так он всем опостылел, что тошнило от одного вида старой кадки за печкой.

Весна приносила не только тепло, но и надежду, утешение, что скоро появится в низинах дикий лук, потом - щавель, потом - куга, а там и до лета, до ягод, недалеко.

Как только с пашни сходил снег и чуть-чуть подсыхала дорога, мы, мальчишки, собирались шумной ватагой и отправлялись на добычу - собирать оставшиеся с осени колоски на пашне. Из девчонок за колосьями ходила с нами одна Нурбала, смышленая, ловкая, хлопотливая, как галка. Ей было лет девять, но все хозяйство по дому вела она - и корову доила, и самовар ставила, и дрова колола, и с братишкой, четырехлетним Жарасом, возилась. Мать ее целыми днями пропадала на ферме. До пашни в четырех-пяти километрах от аула мы добирались быстро, почти бегом, и там разбредались, словно козы на лугу. Каждый старался как можно больше набрать колосьев и брел-брел все дальше и дальше, ничего не слыша и не замечая вокруг. Нудная была эта работа. Прыгаешь по пахоте, выбираешь место посуше, увидишь мокрый, жалкий, вымерзший

колосок, суешь его в торбу и опять прыгаешь, жадно глазами вокруг себя шаришь. А колосьев на поле бывало негусто. Добротно убирали в те годы урожай, хоть и далеко было тогдашней технике до нынешней.

Вскоре наши ноги безнадежно промокали, и мы уже не выбирали сухих мест, не прыгали по кочкам, а шли напрямик по жирной, чавкающей грязи. Рядом с нами работали, сыто каркали вороны. От холода нас колотило, как в лихорадке, пальцы синели и немели, словно в судороге. А мы все шли и шли, подбирали каждый колосок, совали его в сумку и злились оттого, что сума никак не наполнялась. Уставали очень быстро, малыши начинали хныкать. Маленький Жарас, почти не видный под старым отцовским малахаем, жалобно скулил:

– Нурбала, пойдем домой. Нурбала, домой хочу...

Нурбала, не слушая окоченевшего братишку, сорокой прыгала по пашне и проворно собирала колоски. Отставать от нее нам было стыдно. И мы, стиснув зубы, покорно искали колосья и украдкой поглядывали на лесок недалеко от дороги, где была теплынь и сушь. Сумка на шее Нурбалы заметно округлялась и бултыхалась весомо, и мы тайком ощупывали наши жиденькие мешочки и завидовали ей. Вот работяга! До чего все легко и ловко получается у нее.

- До-о-мой хо-о-очу, - монотонно канючил Жарас, а Нурбала словно и не слышала его.

- Слушай, имей же наконец совесть, - не выдерживал Еслям.

– Видишь, совсем мальчонка закоченел.

– Да, да. Хватит. Простудишь его, - дружно поддерживали мы его. Нурбала насмешливо улыбалась.

– Ну, ладно. Все вы, вижу, озябли, воробышки.

– Да нам-то что? Нам все равно, неуверенно говорили мы.

– Ладно. Пошли на полянку. Погреемся.

Мы все разом мчались к лесочку, на солнечную полянку. Там было удивительно тепло, сухо и вкусно пахло нагретыми прелыми листьями. Добежав, мы тут же разувались и, подстелив мешочки с колосьями под головы, ложились навзничь. Приятно было так лежать, чувствуя, как постепенно входит в нос благодатное, дремотное тепло, приятно было смотреть на небо и думать о том, как доберемся до дому, совсем уж отогреемся у печи, выпьем по миске айрана, а вечером матери наши поджарят наши зерна или - кто знает – даже испекут пепешку. Ах, до чего все это хорошо!

Дома мы бережно раскладывали колосья на печке. Сушились они долго, а когда подсыхали, становились совсем жухлыми, невзрачны-

ми. Потом сухие колосья растирали в ладонях и, подстелив тряпицу, пропускали зерна чуть-чуть заметной тоненькой струйкой и легонько дули на нее, чтоб отсеялась полова. Зернышки - чахлые, сморщенные, бледные - неслышно, невесомо падали на тряпку, и от сумки колосьев получалось всего-навсего две-три горсточки чистого зерна. Их потом поджаривали в казанчике на сливочном масле. Царское было это кушанье. Возьмешь щепоть коричневых, подрумяненных, пахнущих прогорклым маслом зернышек, покладешь аккуратненько, чтоб не рассыпать, в рот, похрустишь, чайком горячим запьешь - жизни лучшей не надо. А иногда, если пшеницы набиралась миска или больше, бывало, мололи на ручной мельнице, а из муки пекли тонюсенькие лепешки. Это уж вообще райская еда получалась. Фельдшер каждый год говорил и лекции в школе читал, что пшеницу, перезимовавшую под снегом, есть нельзя, что в ней якобы накапливается какой-то яд, и если ее есть, можно тяжело заболеть животом. Однако, кто имел — ел, и никто не болел, а если и болел, то кто знает отчего. Может, от промерзлой пшеницы, а может, от прокисшего айрана или какой-нибудь похлебки - бурдомаги, а скорее всего - просто с голодухи.

Мы отдыхали, греясь на солнцепеке в затишье березового колка, и молча смотрели на

небо. Из-за горизонта воровски подкрадывались легкие, пушистые тучки, постепенно они превращались в растрепанные, словно изодранная в клочья фуфайка, облака, а за ними, как из засады, недобро выглядывали уже черные тучи. Вскоре, словно чувствуя, что скрываться теперь уже бесполезно, тучи надвигались сплошняком, подгоняемые прискакавшим с севера разбойничьим ветром.

– Ребята, домой, - говорила Нурбала.

Мы быстро обувались, закидывали за плечо наши дряблые мешочки и топали домой.

Домой возвращались тесной кучкой. Маленький Жарас старательно семенил позади, хлюпал носом, пыхтел, и Нурбала время от времени, низко сгибаясь, несла его на спине. Но Жарас и сам чувствовал, что тяжело сестре его нести, и уже через минуту просил:

– Теперь я сам, я сам.

Говорили каждый раз об одном и том же. Вот кончится война, разобьют фашистов, вернутся наши отцы домой и привезут всякую всячину: ремень с медной пряжкой, губную гармонику, зажигалку, а то и ботинки на толстой-толстой – век не износить - подошве. Многие из нас уже и не говорили о возвращении отцов. Дома на дне пустых сундуков лежали «черные бумаги» - похоронки, но о конце войны мечтали все и все были уверены, что после нее все сразу

же будет хорошо. И хлеба вдоволь, и в школе тепло, и карандашей и тетрадей - сколько хочешь. Жарас хотел стать красным командиром.

— Пуйрад! Пуйрад! - кричал он.

— Бей фашистов! Тах-тах-тра-рах!

—«Пуйрад» означало у него, должно быть, «вперед!»

— Так фашистов, пока ты подрастешь, не будет, - говорили мы.

Еслям воевать не хотел. Он видел себя директором школы. На нем будет точь-в-точь как у нашего директора френч с четырьмя карманами, галифе и хромовые сапоги. Выстроит учеников на линейку и, выпятив грудь, будет перед ними держать речь.

— Ребята! - скажет он.

— Учитесь отлично! Каждая ваша пятерка - это пуля в сердце врага.

А нерадивых Еслям вызовет к себе в кабинет.

— Учти, дорогой! - строго заметит он. Будешь плохо учиться - всю жизнь в колхозе останешься. Быкам хвосты крутить будешь!

Еслям почти достиг своей цели. Проработав лет пять учителем, он стал завучем, а вскоре, я думаю, и директором станет. Только о пятерке-пуле он говорить уже не будет, да и лентяев колхозом сейчас не испугаешь. Другие времена настали.

— Ну а ты? — спрашивала меня Нурбала.

– Я? Я это... писателем буду.

– Кем, кем?!

– Ну... писателем буду.

Все удивленно переглядываются: у нас в ауле о таком никто и не мечтал.

– Ты? Писателем?! - кривил губы Еслям. - Если ты станешь писателем, я отрежу себе нос. Ол-лахи!

К счастью Еслама, писателем я так и не стал, и потому нос его остался в целости и сохранности.

Нурбала, поблескивая глазенками, живо поглядывала на нас. А потом вдруг заявляла:

– А я никем не буду

– Как это... никем? - удивлялись мы.

– А вот так. Никем - и все. В колхозе останусь, маме помогать буду.

– Конечно! Куда тебе! — по-взрослому замечал Еслям.

– Тебя замуж выдадут.

Мы уже прошли два перевала, там, под косогором, был аул.

И вдруг за спиной раздался отчаянный вопль Жараса.

– Ойбай! Садвокас!

Со стороны оврага прямо на нас несся на кургузой гнедухе, размахивая камчой и неистово ругаясь, бригадир Садвокас. Словно напуганные котом воробьи, шарахнулись мы

врассыпную. Кто-то прямо по лужам драпал в аул, кто-то круто заворачивал в лесок, третьи с испуга помчались по пашне, утопая по колено в грязи. А позади настигал нас разъяренный бригадир и, выпучивая вечно воспаленные глаза, вопил на всю округу:

– А-а-а... мать вашу! — эхом вторил лес.

– Хлеб воруете! Там,- бригадир энергичным жестом указывал камчой на запад - там отцы и братья ваши кровь проливают, недоедают, недосыпают, а вы хлеб воруете, а?

Ох и боялись мы бригадира Садвокаса! Женщины и даже старики седобородые трепетали перед ним. Был Садвокас свиреп, редко говорил по-человечески, кричал хриплым низким басом. Глаза его при этом наливались кровью, брови лезли на лоб, усы жестко топорщились. Он не щадил никого, ни людей, ни скотину, с раннего утра до поздней ночи мотался на кургузой гнедухе по бригадам, по полям, по ферме, по аулу, по стану и безумолку хрипел: «Давай! Давай!». И так мудрено заковыристо ругался, что даже гнедуха под ним стыдливо прижимала уши. Вернулся он с фронта на костылях, неделю чикилял по аулу, а потом оседлал гнедуху и пошел бригадирствовать. И рьяно, круто принялся за дело. Еще до восхода солнца выгонял всех в поле. Старух посадил за прялки, заставлял вязать носки и перчатки для

фронта. Осенью никому не позволял вынести с тока хотя бы горсть зерна. Весной он гонялся за ребятишками, отбирал их жалкую добычу - промерзшие колосья и отвозил в колхозный амбар. По любому поводу он кричал: «Там, на западе, ваши братья и отцы...», а кончал речь одним и тем же призывом: «Давай, давай, давай! Все для фронта!» В ауле говорили, что у него порченая кровь. Так, наверное, оно и было. Слыша за спиной надсадный сап гнедухи и свист камчи, мы бросали свои злосчастные мешочки и улепетывали прочь, не чуя ног. Садвокас, ловко нагибаясь, на всем скаку подхватывал мешочки и совал их в огромный полосатый куржун на седле. Никому не удавалось уйти от разгневанного бригадира. Один за другим лишались мы своей добычи. Одна Нурбала никуда не побежала. Растрепанная, взлохмаченная, встала она посередине дороги, прижала мешочек к животу, обняла крепко братишку и с дикой решимостью и ненавистью уставилась на бригадира. Садвокас круто осадил гнедуху прямо перед ней, замахнулся было камчой, но встретившись с ее глазами, неожиданно оробел, опустил руку.

— У, злюка! Вся в мать, - прохрипел он и повернул гнедуху к колхозному амбару.

Притихшие, обиженные до слез, мы долго смотрели ему вслед, потом, выбравшись снова на дорогу, уныло брели в аул.

– Ничего, ничего! – сурово говорил Еслям.

– Все равно когда-нибудь Садвокасу морду набью.

– Куда тебе! – хмыкала Нурбала,

– Не побью?! — оскорблялся Еслям. - Еще как!

– Я тебе п... п... помогу, - все еще всхлипывая, обещал Жарас.

Мы придумывали для Садвокаса самую страшную месть и в мечтах видели, как грозный бригадир стоит перед нами на коленях, по обкуренным усам его текут слезы, он размазывает их грязными руками по лицу и сквозь рыдания говорит:

– Больше не буду, ребята! Ол-лахи, больше не буду.

Внизу под косогором открывался аул, из некоторых труб вился тоненькой струйкой дымок. Мы расходились по домам, договорившись, что завтра соберемся вновь за колосьями и пойдем оврагом, чтоб не увидел нас Садвокас.

Между тем мои ученики свернули с дороги, обогнули котлован и направились к пожарной вышке, стоявшей в открытом поле. Поле было густо усеяно подснежниками, девчонки хором зайокали, заахали и принялись рвать цветы. Мальчики сразу же полезли на вышку и оттуда любовались безбрежным простором степи и лесов. Потом мы направились к ближайшему

колку, устроили в затишье привал. Я расстелил газету, вытащил из рюкзака хлеб, соль, луковицы, и начался царский пир на вольном весеннем воздухе. Быстро покончив с трапезой, ребята развалились на сухих прошлогодних листьях, а девчонки принялись перебирать букетики подснежников.

– Ағай, расскажите что-нибудь, - попросил Дулат.

– Ну, расскажите, а? - блеснули глазенками девчонки.

Я гляжу на них и будто впервые замечаю, до чего же они все опрятные, чистые, ухоженные. Тщательно отутюженные костюмчики, фартучки, воротнички, изящные пальтишки, плащи. Лица гладкие, розовые. Глаза блестят. Рассказать им о своем детстве? Об ауле? Рассказать, как весною собирали колосья? Поймут ли? Будут ли слушать? Или начнут зевать с первых же слов?

– Ну, расскажите, ағай...

И я им рассказываю о той далекой весне, об Есляме, Нурбале, Жарасе, о колосьях и бригадире Садвокасе. Я рассказываю и приятно удивляюсь, что они слушают очень внимательно, живо, таращат глазенки. У меня исчезают все сомнения, и я рассказываю о своих сверстниках, об их бабушках, которые в те годы безропотно тянули колхозную лямку, вынесли

все тяготы войны, нужду и лишения, отдали этому колхозу, этому аулу все свои силы и здоровье. Странно: они будто впервые слышат об этом.

– Ағай, а Еслям - это наш Еслям Акбарович?

– Да это он.

– А Нурбала - это Нурбала-апай, агроном?

– Верно. Угадали.

– Вот здорово!

Все восхищены этой догадкой, а Дулат даже приподнимается от удивления.

– А Жарас где?

Жарас окончил танковое училище и теперь офицер Советской Армии!

– Вот так да-а-а! Надо же!..

По дороге домой ребята уходят далеко вперед, и я вижу, что они почему-то бредут по пашне. Возле школы они меня окружают уже с портфельчиками в руках и вдруг хором скандируют.

– Спа-си-бо! До сви-да-ни-я!

И все разом протягивают мне маленькие пучки подснежников и колосьев. Весенних, блеклых, оттаявших недавно колосков.

– Спасибо, ребята! Спасибо, спасибо!

Я сложил все пучки вместе, получился небольшой снопик. Я отнес его в учительскую. Подснежники поставил в банку с водой, а сно-

пик весенних колосьев положил на окно у столика завуча. Увидят его завтра мои коллеги, возьмут в руки, потрогают и непременно задумаются, вспомнят свои детские годы, те годы, которых мои ровесники не забудут уже никогда...

На другой день утром, когда я вошел в учительскую, Еслям задумчиво перебирал колоски. Заметив меня, он тихо спросил:

– Ты принес?

Я кивнул головой.

– А Садвокаса, бригадира, помнишь?

– Еще бы!

– Эх, гонял он нас, бывало, а?!

– Еслям улыбнулся.

Помнится, - заметил я, - ты еще грозился морду ему набить.

– Да, да, да, - вовсе оживился Еслям.

– Верно, очень даже хотел. Да-а-а... Милые детские глупости...

Еслям задумался. Учителя собрались вокруг его стола, осторожно разглядывали и даже почему-то нюхали хрупкие стебельки, грустно улыбались чему-то далекому и так явственно близкому. Кто в те годы не собирал колосьев, не гонял быков, не пахал на тощих коровах, не маялся за сохой?..

– А знаешь, - опять начал Еслям, забыв, что в учительской он разговаривает со мной на

«вы». - Если подумать, Садвокас не был виноват. Воевал, был ранен, контужен. Вкалывал в колхозе не щадя себя. И здесь, в тылу, воевал, как на передовой. Слишком прямолинейно понимал: «Все для фронта!» И, конечно, перегибал. Даже детям доставалось. А попробуй расскажи сейчас своим ученикам про это.

– И слушать не будут.

– Послушают - не поверят. А?..

Мы молчали, погрузившись в раздумье. Молоденький преподаватель физкультуры, тоже осмотрев колоски, взглянул на нас и осторожно положил пучок на подоконник.

Еслям спохватился, покосился на часы и посуровел.

– А вообще-то был звонок. На урок, товарищи! По классам!

Потом пристально посмотрел на меня и спросил:

– Надеюсь, сегодня у вас по плану нет экскурсий?

– Надейся, надейся, Еслям Акбарович, - сказал я, выходя из учительской.

Я шел в класс и думал о том, что задам сейчас своим ученикам сочинение о вчерашней экскурсии.

Интересно, вспомнят ли они про колоски?..

СОДЕРЖАНИЕ

1.Волк.....4
2.Марта.....18
3.Чапа.....27
4.Ужак.....32
5.Вышел ёжик из тумана.....38
6.Лю, Ца и Фу.....43
7.Сухари.....48
8.В путь журавлей провожаю один я.....60
9.Аул в снегу.....85
10.Маленький король.....98
11.Марина, Пупсик и я.....107
12.Земляника степная.....121
13.Была весна.....140

Литература для детей

Художественный руководитель: Шайзада Байкенова
Редактор: Г. Кудайбергенова
Иллюстрации -комиксы Жулдыз Бозжигитовой-студентки кафедры Дизайн Алматинского технологического университета.
Внедрение проекта «Start-up АТУ - 2021»
«Психология воздействия комикса на детское восприятие книжного текста»
Верстка: Ш. Байкеновой

ИБ № 3 (202)

Набор 03.03.2021 г.
Подписано в печать 28.08.2021 г.
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсет. Печать офсет.
Обьем 10 у.п.л. Тираж 3000+100 экз.
Заказ №6128.

Отпечатано с файлов заказчика в
ТОО «Полиграфкомбинат» Республики Казахстан,
050002, г. Алматы, ул. Макатаева, 41.